МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ

альманах

Литературный перекресток 14

МОСКВА
ООО «Миттель-Пресс»
2019

УДК 821.161.1=8
ББК 84(2=411.2)6
Л 64

Литературный перекресток. № 14, 2019: альманах,
Московский союз литераторов. — М.: ООО «Миттель-Пресс», 2019. — С. 156.

ISBN 978-5-6042692-3-7

Дизайн обложки:
Александр Астрин

Для писем: 125009, Москва,
Б. Дмитровка, 5/6, строение 8,
Московский союз литераторов.
Тел.: 8(495)692-06-03
Электронная почта: litcross@aport.ru

Орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены.

Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и авторам не возвращаются.

УДК 821.161.1=8
ББК 84(2=411.2)6

ISBN 978-5-6042692-3-7

© Коллектив авторов, текст, 2019
© Александр Астрин, обложка, 2019
© ООО «Миттель-Пресс», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Вадим Жук. Поэт. «Чтобы, как танцующие дети…» Когда вырастет — кем оно станет… Тут надо всё разбить на элементы… В девятнадцатом столетье… Жаль, жаль, жалко мне… Они трудились вдохновенно… Конечно, время сделалось, как паста… В ночи военной и печальной… И не падает снег… Облака — словно тихих апостолов профили… Родиться в скворечнике… Так походя лишают жизни лук… Мальчик и девочка… Купание и ужин при луне… Скакать на рваных «жигулях»… Вот девочка с зелёной головой… Набело, моя радость… Свет и тени на хрупких чугунных мостах… Анатомическая молитва. Непарный. Пока недоверявшая нирване, Гармония… Льются с берега сиртаки… Чуть поёживаясь, чуть жеманясь… 5
Владимир Квашнин. Стог. Осеннее. Мужики. Дед Мороз. Оленья земля. Стрекоза. Живая 18

ПРОЗА

Михаил Стародуб. Стекляшки на витраж. Размышления и остальное, для души подходящее (отрывок из повести) 27
Жанна Голубицкая. Отрывок из книги «Тегеран-1360» 50
Андрей Бинев. Русский салат (отрывок из неоконченной повести). Эпитафия (отрывок из книги «Небесная станция по имени Рай» 68
Татьяна Шипошина. Несогреваемое. Смелость 86
Виктор Черняк. Рита и Мастер. Улица. Смотри, там заяц. Запасный путь 94
Марина Рябоченко. Глупой 106
Евгения Шапиро. О море, счастье и любви 113
Маша Ши (Мария Шипошина). Словесные наброски на концерте 115

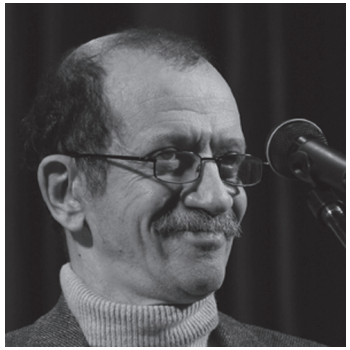
Мария Романушко. Отрывок из повести «Борис Сударов: человек, прошедший через эпицентр атомного взрыва. Встречи на берегу: диалог-путешествие» 118
Светлана Волкова. Чёрное и розовое 128

ИРОНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Владимир Дмитриев. Приус 137
Кира Краснова. Дела житейские 149
Александр Смирнов . Веллеризмы 151
Владимир Кафанов. *Фразы* 154

Главный редактор *Координатор*
Михаил Стародуб **Джангули Гвилава**

Редакционная коллегия:
Татьяна Шипошина *(1-й заместитель главного редактора)*
Жанна Голубицкая *(заместитель главного редактора)*
Надежда Днепровская, Ева Меркачева,
Лариса Адлина, Виктор Черняк



ВАДИМ ЖУК

Поэт

Вот тьме обречённые тыщи
Идут к тебе нищей толпой,
И света и мудрости ищут,
Как мамку котёнок слепой.
А ты докатился до точки.
Какая вселенская лень! —
С рассвета до ночи ни строчки!
ПроклЯтый и прóклятый день.
— Никто тебе слова не скажет,
Что ты не писал ничего.
Зевнув, человечество ляжет.
Пусть спит. И не трогай его.

* * *

Чтобы, как танцующие дети,
Как в саду древесная листва,
Обращались эти буки-веди
В быстрые зелёные слова.
Чтобы чудо-ласточка с приветом
Ласковой плещеевской строки
Прилетала с потеплевшим ветром
Да клевала что-нибудь с руки.
Чтобы жизнь переходить, как поле,
Под приглядом сонных деревень,
Чтоб с утра до ночи, всклянь наполнен,
Дольше века длился этот день.
Чтобы колыбельными стихами
Приходило давнее во сне —
Бунинское лёгкое дыханье,
Чеховское светлое пенсне.

* * *

Когда вырастет — кем оно станет,
Это слово на наших устах.
Станет лодкою в океане
Или облаком в небесах?
Слово девочка, слово мальчик?
Мы не знаем с тобой наперед —
Засмеётся оно, заплачет,
Есть попросит, к груди припадёт?
Появленьем на свет нам обязано,
Но свободно и вольно оно.
С целым миром невидимо связано,
Для любви и в любви рождено.

* * *

Тут надо всё разбить на элементы.
Тут важен график, линия и план.
Вот Пастернак — поэт интеллигентов,
Есенин — для рабочих и крестьян.
Ахматова — врачихам и певицам,
Цветаева для умных медсестриц.
Введенский — склонным к суициду лицам,
А Мандельштам для облаков и птиц.
Необходим такой путеводитель,
Доступней с ним воздушные пути,
А то садится в лодку посетитель,
Взял в руки вёсла. А куда грести?
Теперь всё ясно! Заскользила лодка.
Пегасы входят в тучные овсы.
И Бродский улыбается в бородку,
И Пушкин усмехается в усы.

* * *

В девятнадцатом столетье
Не на всех хватало нянь.
Многим одарённым детям

Всякую скупали дрянь.
Приходилось им вначале
Этим детям нелегко —
Карл Иваныч, англичанин,
Monsieur L'Abbe, мадам Клико.
Обладатели поддельных
Европейских степеней
Искажали наших девок,
Наших портили парней.
Как агенты, в русском стане,
Уводили их с пути,
Ни поднять тебе восстанье,
Ни реформу провести.
Прятали секреты в ящик
От детей и от отцов,
Не давали настоящих
Европейских образцов.
И при этом поразишься —
Кто-то всё ж писал тома!
Побеждали паразитов
Силой чувства и ума.
Весть доносится благая,
Зорька светлая горит.
Достоевский зажигает,
Тот же Чехов феерит.

* * *

Жаль, жаль, жалко мне
Девятнадцатого века,
Да в одну и ту же реку
Ни снаружи, ни извне.
Жаль, жаль — все дела —
От декабрьского морозца
До — когда Победоносцев
Простирал свои крыла.
Жаль, жаль, просвистел
Обещанием вселенским,
Жаль, что Лермонтов и Ленский

Выходили на расстрел.
Жаль, жаль, жалко мне
Недосева, недокорма,
Недопетые реформы,
Петропавловских камней.
Вот и Фёдор под арест,
Вот и колокол сломался,
Пётр не теми увлекался,
Выпил лишнего Модест.
Ох, Бог, видит Бог,
Так хотели, так старались,
Бомбы толстые взрывались
У царёвых рук и ног.
Жаль, жаль, жалко мне,
Что, под времени порошей,
Стал он дальним позапрошлым,
На глубокой глубине.
Жаль, жаль, не споём,
Мерзнут руки, стынут губы,
На замок закрыты трубы
В распальцованном моём
Двадцать первом.

* * *

Они трудились вдохновенно,
И вот они изобрели
Такие бомбы, чтоб мгновенно
Старели жители земли.
И в белокаменных палатах
От званий и заслуг тесно́,
Там ели сложные салаты
И пили нежное вино.
И господа министры ржали,
Когда под громкий плеск хлопков
Для них шуты изображали
Убогих вражьих стариков.
А там, в далёких вашингтонах
Свой праздник, и вино, и джаз.

У них додумались невтоны,
Как превратить в младенцев нас.
И высоко под облаками,
Бессильный милосердный Бог
Сжимает голову руками
И повторяет: «Как я мог...»

* * *

Конечно, время сделалось, как паста.
И тюбик на четыре пятых пуст.
Но дети и коты лобасты,
А слово хватко, как мангуст.
Конечно, тоже хочется, как люди,
А не минуты мямлить и толочь.
И «завтра» будет! Вот, ей–богу, будет!
Благое утро, шёлковая ночь.

* * *

В ночи военной и печальной
Девчонка Жанна слышит голоса...
И святость индивидуальна,
И подвиг выбираешь сам.
Костры и нимбы золотые,
Простой солдат, а стал герой.
И рядовые, и святые
Не объяснят нам подвиг свой.
Путь к самой запредельной точке
Доступен только одиночке.
Так и хождение по водам
Никак не можно хороводом.

* * *

И не падает снег, а рождается снег
Так бело, так пушисто, так много.
В этот день и родился один человек,
Оказавшийся Богом.

Прорастает зерно. Недокованный гвоздь
На остывшей уснул наковальне.
И дыханье с дыханием переплелось
В мировой человеческой спальне.
А волхвы идут. На ходу
Смеются, важничают, дурачатся.
Перекидывают с ладони на ладонь звезду,
Потому что горячая.

* * *

Облака — словно тихих апостолов профили — над.
Гефсиманский под ними недавно посаженный сад,
Может тридцать, а может быть сорок столетий назад,
Сад.
Только изредка северный ветер — гневлив,
Пробежит по бесцветным морщинам олив,
Да Иосиф Обручник пройдёт с молотком молчалив,
Жив.
Здесь один поцелуй состоялся за множество лет,
Да и сгинул в мерцании тусклом трех десятков монет.
Только вспыхнул тогда, против воли лобзавшего, свет.
Свет.
Гефсиманский — не радостей ради, не ради отрад,
Ветеранов дерев бессловесный и строгий парад.
На себе всей земли ощущающий взгляд
Сад.

* * *

Родиться в скворечнике. Лбом пробивать скорлупу.
С незнанья пытаться найти материнскую грудь.
Два дня протоптаться с обломком скорлупки на лбу,
Пока не удастся её, наконец, сколупнуть.
Толкаться с братишками из-за жука — червяка.
И вякать начать по-скворецки, слегка с хрипотцой.
Больших москворецких закатов бояться слегка —
А кто это смотрит и красный, и страшный такой?
Не всем в нашем доме, как мне, дураку, повезло,

Кто выпал, кого прилопатил кошачий медведь.
Я выжил! Приходит на милую землю тепло.
Неделя, не больше — я встану с утра на крыло!
Да будем мы проще! Ты понял? — Я буду лететь!

* * *

Так походя лишают жизни лук,
На европодоконнике взращённый,
Так первый меловой рисуют круг
На мостовой, по-новому мощённой.
Так старый коммунист с плиты
Снимает разум возмущённый.
Так вспоминают зрелые коты
Про март, к любви и крыше обращённый.
Так к льдине тающей спешит рыбак,
Предсмертным снаряженьем оснащённый,
Так гулевой супруг идёт в кабак,
Вчера ещё в последний раз прощённый.
Так юноша не верит ничему,
Сестры подругой обольщённый,
Так горе горькое спешит к уму
На митинг, дикой властью запрещённый.
Так безнадёжна, счастлива, честна
Берёт и начинается весна.

* * *

Мальчик и девочка, думаю, лет по пяти.
Только вчера в кружевном трепыхались конверте.
Им по дороге к скрипучим качелям идти.
И говорят. О любви говорят и о смерти.
Бабки — рабыни экрана, обсели подъезд,
Вроде их ангелы делят уже меж собою и черти.
Всё выясняют подруженьки — кто чего ест,
Кто принимает чего от любви и от смерти?
Девка — оторва, возьми ей да ветку сорви.
Зубы, чистюли, в ехидной улыбке не щерьте.
Чем ей ребёнка кормить без горючей любви?

Разве пристало ей думать о горестной смерти?
Шиллер с Шекспиром садятся в машины свои,
И — о Марии, Джульетте, о Карлосе, да о Лаэрте.
Всё, что написано, всё о любви, о любви,
Всё, что написано — только о смерти, о смерти.
Вот почему ниоткуда взялись соловьи,
Дайте им время! Такое к июню завертят!
Только услышь — о любви, о любви, о любви,
Только забудь, что о смерти, о смерти, о смерти.

* * *

Купание и ужин при луне,
Далёкие синеющие чащи.
Да, безусловно, истина в вине,
И в этих бёдрах стройных и сладчайших.
Наутро быстрый посланный придёт,
Окинет взглядом чашу и подругу.
Мужчинам следует идти в поход
К такой-то Трое. Это где-то к югу.
Отыщутся доспехи и копьё,
В углу щита, с пробоинкою рядом
Приклеишь фотографию её,
Ту, где она на выходе из сада.
Понт будто раскалён. И небосвод
Горит огнём. Предчувствуя разлуку,
Олива к кроне ветку поднесет,
Как женщины к глазам подносят руку.

* * *

Скакать на рваных «жигулях»
По никакому шляху
А там ночных ножи гуляк
Пробьют твою рубаху
А там взбираться по стене
Или ломиться в двери
Услышать «Ты не нужен мне»
И не посметь поверить

Купить билеты в Магадан
Уехать в Аризону
Ньютон бинома разгадать
Или попасть на зону
В любой момент готовый стать
Хоть гением хоть геем
Теперь тебя перелистать —
Ремарк с Хемингуэем
Звонить сто раз в теченье дня
Ни разу за три года
Услышать «Ты достал меня»
И первым пароходом
Лететь по рельсам на авто
От Невского к Стромынке
Забыв надеть носки пальто
И чёрные ботинки
Сожрать без лифта этажи
В стихах в цветах в закате
И всё. Перед тобою жизнь
В распахнутом халате

* * *

Вот девочка с зелёной головой,
Она идёт в метро и зеленеет.
Глазам-то что, а сердце леденеет.
С ходящим деревцем, с ожившею травой
О чём мне говорить? О топорах?
О древоточцах, о сенокосилках?
О лошадиных на лугу губах?
А смотрит с вызовом. Глаза с косинкой.
Вот повстречалась с синей головой.
Та, с синего морозца. Индевеет.
А с ней о чём? Что сколько ветр не вой,
Но парус всё равно белеет?
Мы так и знали! Красная идёт!
Лес! Море! Солнце с чёрными ногтями!
Я всех троих люблю! Меня к ним тянет!
Но мир меня бесцветный ждёт.

И главное — безумный и хромой,
Я так вооружён, что безоружен.
И я такой на кой им нужен?
Ползком. На радиальную. Домой.

* * *

Набело, моя радость,
Теперь напишу набело.
Да уже отболело
И даже совсем отлегло.
Пригласили оркестр,
И смешной молодой тромбонист
Не на ноты смотрел,
А на ноги пришедших актрис.
Воробьи и синицы
На раз расклевали кутью,
Я искал и не видел
Короткую шубку твою.
Синий мартовский снег,
Скоро будет синё и тепло.
Намело, моя радость,
За целую жизнь намело.

* * *

Свет и тени на хрупких чугунных мостах,
Как обрывки июньского сна.
А у милых-премилых на нежных местах
Несмолкающая белизна.
От большого столетья, от ночи и дня,
Остаются заметки, следы,
У меня от тебя, у тебя от меня
Мякоть облака, шелест воды.
А про подлинный свет нам узнать суждено,
Оказавшись в безрадостной тьме.
Невеличка свеча, небольшое вино,
Да сосна на зелёном холме.
Молодая сосна с моховою корой,

Заблудившийся в ветках восход.
Где Иванушка-братец за речкой Сестрой
Из чужого копытечка пьёт.

* * *

Анатомическая молитва

Удивись, восхитись и влюбись в неё,
В Божью щедрость без шор и границ.
Полюби лучевую и плюсневую,
Мощь лодыжек, разбеги ключиц.
Полюби беззащитную печень
И бессонное сердце своё,
Тайну возникновения речи,
Тайну слышания её.
Влаг осмысленное течение,
Каждый шарик в бегущей крови
И чудесные приспособления
Для живой и животной любви.
И хрусталики — зыбкие звёзды,
И соплей изумрудную слизь.
Ты припомни, кем всё это создано,
Полюби! Изумись! Преклонись!

* * *

Непарный

И палуба ещё занозиста.
И мускулисты и легки,
Стрелой сыны по судну носятся —
Неопытные моряки.
Весёлый Хам, и Сим внимательный,
И основательный Яфет.
Все щёлочки законопатили,
Ущербин нет, изъянов нет.
И движется по трапу парами
Разнообразное зверье.

Косули вперемеш с гепардами
И кролик следом за змеёй.
Я поднимаю взгляд затравленный
В надежде встретить Ноев взор,
Но до бровей заросший праведник
Ведёт с Всевышним разговор.
Незнаемый, не заповеданный,
Не взятый Ноем на ковчег,
Я зверь печальный и неведомый.
И вот идёт за веком век.
Пришли века новозаветные,
Сменился весь земной словарь.
Одна зверина неприметная,
Одна обиженная тварь.
Нет, не талантом и бездарностью
Был капитан руководим.
Я был не взят из-за непарности,
Ему не нужен был один.
И может быть, все беды адовы,
Весь сор земного бытия,
Вся боль. Лишь потому что, праведник,
Тобой был не замечен я.

* * *

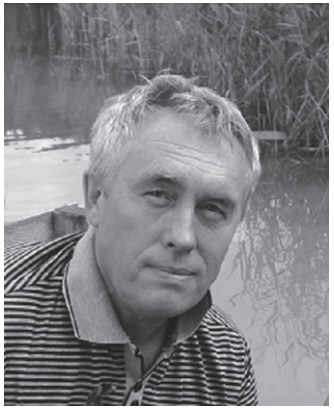
Пока не доверявшая нирване
Гармония ходила за дровами.
Пока происходило между вами
То, что происходило между вами.
Пока ноябрь примерялся к снегу,
Пока ты утром привыкал к ночлегу.
Пока прыгун готовился к разбегу
И арестант готовился к побегу,
Пока ты волком выступал на ёлках,
Пока ты заседал на книжных полках...
И жизнь прошла. В затейливых наколках,
На каблуках-иголках, с рыжей чёлкой,
В дроздовых флейтах, в соловьином щёлке.
Пока!

* * *

Льются с берега сиртаки,
Лают весело собаки.
Ветерок со всех сторон,
Едет в лодочке Харон.
Рядом лодки с рыбаками,
Бабы ладные с вальками.
Судоходна Стикс-река,
Широка и глубока.
Сам гребец хорош и ясен,
Телом крепок, ликом красен.
На кудрях его венок.
Бойко движется челнок.
А кто скучает там на дне,
С этим, братцы, не ко мне.

* * *

Чуть поёживаясь, чуть жеманясь,
Чуть страшась неведомой беды,
Шепчутся, друг к другу прижимаясь,
Робкие молекулы воды.
День прозрачен и стакан прозрачен,
Круглый луч проходит вдоль стены.
Солнечные пятна, не иначе,
В блики от стакана влюблены.
Точно так же — города и страны,
Части и частицы бытия.
Птицы, солнца, громы, океаны,
Раковины, ветры. Ты и я.



ВЛАДИМИР КВАШНИН

Стог

Так, значит, мне, поэту русскому,
Слабо стожок поставить, Паш?
Шалишь, сосед! Ты не капусткою —
Сметаной проигрыш отдашь!

А как в луга-то утром выбежал,
Там, ё-моё — копна к копне!
Пока стаскал, да кругом выложил —
Рубаха взмокла на спине.
А что теперь жалеть да каяться? —
Покрепче вилы в перевес…
Растёт, родимый, подымается,
Ещё чуть-чуть — и до небес!
Подгрёб последнюю, с овсянником.
А сам уже — ни рук, ни ног.
Но поднатужился и пряником
Хло-бысь навильничек на стог!
Охлопал вкруг жердиной тоненькой.
В сторонку, — пот-то утереть…
Такой, скажу, стоит часовенкой,
Аж любо-дорого смотреть!
Да и к речушке в заводь тихую,
Сома на дне пощекотать,
Смотреть, как вечер с лебедихою
Зарю укладывают спать.
Читать стихи своей затаинке,
Качать кувшинки поплавком,
Ловить сетями на прогалинке
Алмазы вместе с пауком.
И слушать, как, смеясь, плескаются

Русалки, вынырнув с глубин,
Как росы счастьем осыпаются
В ладони тонкие рябин,
Туманы с травами милуются
За речкой, спрятавшись в логу,
И звёзды с месяцем целуются
На свежесмётанном стогу.

Осеннее

Что же ты загрустила, родная?
Или вспомнила — сколько нам лет?
Ты же юность моя золотая,
А у юности возраста нет.
Это просто отставшие птицы
Догоняют осенние дни,
Сарафаны июньского ситца
Никогда не поблекнут твои.
Глубина синих глаз с поволокой,
Твой серебряный голос грудной
Неизменны с той встречи далёкой…
Разве спрячешь красу сединой?!
Ты моя журавлиная песня,
Негасимая радость души,
Мы навеки с тобой будем вместе,
Как едины с зарей камыши.
Дай-ка к сердцу прижму, золотая.
Что нам этот осенний рассвет,
Пусть природа грустит, увядая,
У любви нашей — осени нет.
Если надо — соломинкой лягу,
Растоплю сердцем вечные льды,
Упрошу предсказать бабу Вангу
И закрою собой от беды.
Застелю простынею туманы
На стогу среди звёздных полей,
И сквозные душевные раны
Забинтую любовью своей.

Мужики

Бродит осень в дождях по опушке
С паутиной седой в волосах.
Дозревает брусника, волнушки
Зябко ёжатся в мокрых лесах.
В небе тучи накрéнились боком
Так, что дня не проходит без слез,
И всё глубже в бочонок под стоком
Прячет золото осень с берез.
Хоть садись и тоской умывайся…
Да какая в деревне тоска?!
Там — колоть, здесь — сложить, тут — прибраться,
Поспевать надо, вёдро пока.
Вон картошка три дня уж грозится
Из гряды золотым кулаком.
И забор, как Авдотья косится.
А когда — целый день с неводком.
Как ты зиму без рыбы протянешь?
Без капусты, груздей, молока?..
Так что утречком затемно встанешь,
Ясный месяц пригнёшь за рога,
Чтоб светлей, хоть какая-то польза,
И — за сеном на дальний увал.
Вил не видно ещё, а полвоза
На телегу уже закидал.
Не успел привезти, — надо в стайку.
У коровы убрал, — ждёт река…
Так что к вечеру даже фуфайка
Просолеет... Какая тоска?!
Вот придумал же кто-то словечко…
Тут и рад иногда погрустить,
Да под дождь, разоспавшись на печке,
С лебедями над родиной плыть,
А куда?!. Так что нет этой грусти.
Грусть, когда ты от дома вдали.
А когда пироги бабы Дуси
От соседей тебе принесли,

Видишь речки любимой извивы,
Тянет алые губы заря,
Понимаешь — ты самый счастливый,
Что на жизнь наговаривать зря?
Здесь и дом, и любовь тут, и дети,
Вера, родина-мать, старики,
И за всех перед Богом в ответе.
Так что живы ещё мужики.

Дед Мороз

Чем, скажи, не похож на Мороза?
Посох, шуба, рюкзак за спиной,
Нос краснющий, как от передоза...
Да-а, пора, видно, парень, домой.
От рассвета до самых потёмок
По распадкам своим и ключам
Промышляешь, а толку с кулёмок? —
Боль в спине да ремонт по ночам.
Ягод нет и ушёл соболишка,
Только ронжи в ловушках — завал.
Хорошо, что уснул нынче мишка,
А не то бы давно заломал.
И сегодня оттопал прилично,
А что добыл, не скажешь без слёз —
Все капканы пусты, как обычно...
День под горку. Крепчает мороз.
Всё — последний. Да пуст, видно, тоже.
Только лыжу вперёд на шажок,
И тут вижу — ни сбежки, ни ронжи,
Цепь — под корень... Попался, дружок!
А как глянул под низ корневища,
Ё-моё! Там, подобно огню,
Вот такущий сидит соболище!
Наконец-то прибыток в семью!
Ох, подарочек к Новому году —
Кряж тобольский и сорт — само то!
Дробь, бензин, запчастей к снегоходу,

Маме — обувь, дочурке — пальто!..
И тут жалость иголкою старой:
«Сделай чудо, ведь ты ж Дед Мороз...»
Эх, да... ладно! Беги, дикошарый!
Два прыжка — и исчез меж берёз.
Вот стою, улыбаюсь устало,
Лёд сдираю с усов не спеша...
По уму — столь деньжищ убежало,
А по сердцу — живая душа.

Оленья земля

Вроде и охотник не последний,
Опыт есть, и тут с чего бы вдруг —
Заплутал, следок ведя олений,
А в пургу, какие север-юг?
Или те же звёзды с полюсами?
Компас — да! И топал бы себе,
Так не взял, решив, что ноги сами,
Как обычно, вынесут к избе.
Что ж теперь пенять на непогоду…
И на лёд никто меня не гнал…
Вот и рухнул, с лыжами, под воду,
Знал бы прикуп — в Сочи отдыхал...

Сколько дней я по тайге скитался,
Только волк и знает — следом полз.
С кашлем засыпал и просыпался
У костра... А ты дрова в мороз
Наруби... К утру погасли угли…
Лютый взгляд прожёг напротив тьму…
Нет уж, серый, лучше я от пули
Смертушку, чем от тебя, приму.
В грудь уткнулся верною двустволкой,
Нацарапал имя на коре…

Кулёмки, капканы, сбежки — орудия лова при охотничьем промысле пушнины в Сибири и на Дальнем Востоке.

И вдруг голос: — Это кто ж под ёлкой
Загорать собрался в январе?!

Я очнулся только через сутки —
Печь трещит поленом в тишине.
Рядом — кошка, чуни на приступке,
Травы с корешками на стене.
Под святыми ликами — лампадка,
Стол из плах, ружьё с патронташем
На рогах, под хомутами — кадка
С деревянным лебедем-ковшом.

— Да никак очнулся, бедолага?!
Ить по саму краешку судьбы
Пробежал, бодай её коряга!
Я — на голос. А посредь избы,
Как по волшебству — худющий старец
В три аршина, нос — в картоху смят,
Седину волос, крутя на палец,
Из-под мха прицеливает взгляд.
И вдруг с визгом, с улицы, с мороза
Ребятишки, забежав гурьбой,
Сладкий запах сена и навоза
Затащили комом за собой.

Я — охотник, батя… Из Мещеры…
Заблудился… В наледях промок,
Ну а вы... неужто староверы?!
— Все мы православные, сынок, —
Отрубил старик мою крамолу.
— Мы ещё в тридцатых от властей,
Как взорвали церковь, на Николу,
В лес ушли, забрав с собой детей.
Трудимся и жизнь ведём простую,
Есть у нас и храм, и иерей,
Молимся за нашу Русь святую…
Ну а вы-то как же без церквей?
Всю, поди, страну разворовали,
Сильный — с плетью, слабый — на ноже,

По за что вы храмы-то взорвали?!
На-ко — взвар… Да пей же ты уже!
Наложил трёхперстное знаменье
На питьё, вздохнул... И на меня.
— Знай, сынок, лишь Вера и Смиренье
Главная защита от огня.

Я сгорал, как свечка. Тень тревожа,
Старец вёл поклонный разговор.
Видно, за меня, с чего бы Боже
Отменил мне смертный приговор?
Хворь ушла. И стала мама сниться,
Звать домой. Прости, отец — пора.
Обернулся скиту поклониться,
Нет его — обычная гора.

Сколь потом искал — и всё без толку.
А ведь там, в глуши сосновых грив,
Бог уже давно построил лодку,
Будущность Земли определив.
В самых тайниках страны оленьей
Спрятана и в час беды большой,
Судный час великих потрясений
Мир спасётся русскою душой.

Стрекоза

— Папа, папочка мой, я стрекозку поймала! –
Колокольчиком голос, сияют глаза.
Только вроде бы сено к копне подгребала,
А уже разнотравьем летит егоза.

Ах ты, чудо моё! Дай-ка я поцелую...
Прижимаю легонько родное тепло...
И вдруг мне показалось, что я не малу́ю
Приобнял, а душою ступил на стекло…
Как же ты, золотая, похожа на маму…
Мы ведь тоже поймали тебя на лугу,

А точнее — она, я-то, если уж прямо,
Никудышный ловец, лишь отцом и могу
Быть навеки твоим, мой любимый котёнок,
И сидеть над тобой, захворавшей, всю ночь…
Сколько их перестирано, этих пелёнок…
Мамы тоже на свете есть разные, дочь.
Счастье, милая, там, где целуют с порога...
И к чему это я тут с тобой загрустил...
Отпусти стрекозу, пусть летит себе с Богом…

Так когда-то я маму твою отпустил.

Живая

Развалился рассвет
Над тайгой свежепиленным тёсом;
Расстелила заря
Над туманами розовый плат.
Золотым гребешком
Вниз пройдясь по березовым косам,
По осколкам зеркал
Перешла меж камней перекат
К деревеньке моей,
Что раскинула избы над яром,
На ладонях полян
Среди леса, в подмышке реки…
А вокруг журавли
Из болот подпевают гагарам,
И целуют озёра
Шальные от счастья чирки.

Здесь по-русски живут.
И уходят из жизни по-русски.
А чего тут жалеть —
Каждый сам выбирает судьбу:
Или водку с утра
Под забором хлестать без закуски,
Или днями в поту

Заплетать кружевами резьбу
По духмянности плах,
Чтоб запела в них даль ветровая,
Чтоб проезжий народ,
Увидавший мой храм у реки,
Вдруг, опешив, сказал:
«Боже мой, да она ведь — живая!
Вот же — матушка-Русь!
Что ж хороним её, мужики?!»

Не в полотнах она
Дотлевает в тиши Эрмитажа,
А живет как жила —
Только спрятала серьги под шаль.
Как ей петь да плясать,
Если небо над Родиной в саже,
Если мышь-вороньё
Тащит зёрна в заморскую даль?!

Ничего, всё пройдёт.
Всё на круги своя возвратится.
Нам бы только у Бога
Прощенье своё заслужить
За всё то, что бездумно
Творили с родимой землицей,
И понять наконец:
Без деревни России — не жить…

Вот и первый дымок,
По соседству, над крышей поднялся.
В переулке петух
Загорланил, встречая рассвет…
Вот и снова в любви
Деревеньке у речки признался:
Без любви, как без Родины,
Жизни для русского — нет.

МИХАИЛ СТАРОДУБ

СТЕКЛЯШКИ НА ВИТРАЖ

(отрывок из повести)

РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОСТАЛЬНОЕ, ДЛЯ ДУШИ ПОДХОДЯЩЕЕ

Жизнь — мозаика. Сразу не угадаешь, что принесут очередное событие, встреча, пейзаж, музыкальная фраза, промелькнувшая идея. Какой объёмной картинке ещё только, может быть, предстоит сложиться из фрагментов, деталей, частиц прожитого. Скажем, сегодняшнее настроение идеально «монтируется» с музыкой для скрипочки и флейты, услышанной в прошлогоднем феврале, с эпиграфом из дня пятнадцатилетней давности, с ароматами осени 2001 года на улице вечернего Будапешта, где официант ночного клуба выставил столик под открытым небом для меня, размышляющего на эту тему за чашечкой кофе. Я бы не удивился, если смысл жизни заключался бы в том, чтобы набрать ярких событий, точных образов, острых ощущений для конструирования такого рода коллажей. Пример: ищу я грибы в голицынском лесу, а в двух шагах, за сосновыми посадками, — и это можно реально проверить, — шумит Енисей. И, пройдя правым берегом через незнакомую деревню, как раз входишь узенькими улицами в пригород Лондона. Здесь, при желании, я способен ощутить событийный ряд (ситуацию в целом) с точки зрения сорванного гриба, уложенного в лукошко, пережить происходящее как река или облако, от имени мостовой города, на которую ступает башмак, в рамках логики и характера прохожего, что встретил меня на улицах Лон-

дона. Собственно, как Божья искра в движении. Как сознание, изучающее материю разного рода и уровня метафорически: уподобляя и противопоставляя, сближая, сравнивая и так далее.

Написать бы…

…про то, как Д. поставил на крылатого коня. И промахнулся. Рванувшись от линии старта, крылатый легко обошел соперников на добрую сотню локтей, мчался как ветер, но неожиданно сошел с дорожки. Стоял в траве, не обращая внимания на вопль негодования и восторга, взлетевший над трибунами. Сложив крылья, щипал траву и помахивал хвостом. Потом… Д. поправил монокль — конь нахохлился, разглядывая жёлтый цветок. Подогнув задние ноги, не по-лошадиному присел и задумался. Проигравшийся Д. шёл возле опустевших трибун, чтобы сказать крылатому несколько заслуженных слов.

— Травяной мешок! — бормотал он, готовясь к разговору. Но, оказавшись рядом с крылатым, несколько оробел. — Не могу ли я отвлечь вас, сэр? — шаркнув ножкой, обратился он к прекрасному коню с рыжей чёлкой и голубыми глазами.

Можно было предположить, что крылатый не услышит. Глаза его были распахнуты. Ноздри дрожали. Он улыбался широкой лошадиной улыбкой и, надо думать, подбирал очередную рифму.

Что ещё? Заезд состоялся смешанный: амбициозный господин в авто, две самоходных ходули, дева на метле, сэр с кнутом на колеснице, отрок на трехколёсном вело и самокат без седока. Сани в этот раз не участвовали. Крылатый — небольшого роста (чуть выше колена), с точёными ногами и стального цвета крыльями. Если у вас в комнатах прохладно, сумеет надышать тепла. Рядом с ним сочиняются истории. Иногда в стихах. Приятно с таким компаньоном путешествовать из страны в страну. Однако привыкайте владеть собой, крылатый рассеян до чрезвычайности! Может быть, поздней осенью он сбрасывает крылья. Которые отрастают ближе к весне.

…что как-то раз, ближе к вечеру, Н., почувствовав невесомость, — взлетел. Через некоторое время пришла уверенность: есть возможность выбора. Возвратиться на землю или, сохранив воздушность, задержаться под облаками. Там, в небесах, он мог бы найти подобного. Кого-нибудь из летучих, путешествующих внутри облака, чтобы не привлекать внимания, не смущать нас, бескрылых. Далее они могли бы пить дожди. И почему бы им не питаться манной? В конце концов, логично было бы свить гнездо или устроить нечто сходное. Чтобы со временем уменьшаться в размерах, усыхать, обрастая перьями. Потому что, если хочешь к следующей весне высиживать яйца, приходится чем-нибудь жертвовать, хотя бы размерами. Он назвал себя «птиц» (не путать с птицей!)...

…про то, что, если однажды большинство прямоходящего населения встанет на четвереньки, меньшая часть удивится, но из вежливости, слегка.

— Похвальная откровенность! — заметят люди понимающие. — Давно пора.

На самом деле, поражает, как долго сопротивляется человечество назревшей необходимости возвратиться к способу передвижения на своих четырех! И это в местах и на территориях, где все против всех! Почему медлят наделённые элементарным разумом, лишённые предрассудков люди? Казалось бы, подвывать умеет каждый продвинутый третий, кусаться и кусать — любой. Прогресс и желание давно позволяют менять окрас и форму.

Когда органы чувств расположены ближе к земле:

легче хватать, лазать, копать, обонять и слышать;

проще добывать себе пищу, бодаться;

всяк меньше заметен на местности, в связи с чем есть шанс дольше сохраниться;

из стойки на своих четырех существенно легче свернуться в кольцо или «калачиком», чтобы притвориться куском дерьма более крупного хищника.

Сейчас какой-нибудь крупный хищник начнёт морщиться.

— Такое притворство — отвратительно и бесчестно!

— Старая хохма! — осадим хищника. — Ловушка для четвероногой жертвы. Стереотип.

Трудно представить более гармоничную позицию в случаях, когда в недалёком будущем кто-то из сохранившихся прямоходящих раритетов захочет полюбоваться на просвещённого потомка, который замер на своих четырёх в ожидании раздачи у общественного корыта.

Конечно, сегодня доить себя позволяет ещё далеко не каждый из прогрессивного большинства. Да и то время от времени, раз в сутки. И к строгому ошейнику привычка ещё не выработалась.

Время и массированная реклама поправят положение дела.

…пусть сцена представляет собой часть Атлантического океана в районе Бермудского треугольника. Из бирюзовой дали (от левой кулисы в правую) плывет Х. Он беззаботен. Читает вслух… может быть, из Байрона. Навстре-

чу (от правой кулисы) выплывает мрачный У. Подплывши к Х, некоторое время настороженно наблюдает. Короткий монолог Х. Заканчивается обращением к У.

— Не приставайте, сударь, я занят! — отплёвывается и фыркает У.

— Занят? Чем?

— Берегу силы в ожидании чуда. Разговоры сбивают дыхание.

— Сейчас взойдёт солнце!

— Мне что за дело?

— А пока мы наедине со звёздами. Под нами — бездна!

— Да уж! Что и говорить, к сожалению, — не на Тверской.

— Предлагаю приветствовать восход светила песней!

— Да вы в своём уме, любезный? (*Рыдает.*) В конце концов, нас обязаны искать! Местные спасательные службы, они… как вы думаете, существуют поблизости соответствующие службы?

— Что тебя занесло в Атлантический океан?

— За хорошие деньги на Луну пешком отправишься!

— Утопить тебя мало!

— Нельзя меня топить. У меня дела в России.

Герои спасаются на самодельном плоту. Его сложили из того случайного, что осталось после катастрофы коммерческого судёнышка. Там собралась немалая компания: Красотка, Силач, Умник, Завхоз, который, собственно, владеет ситуацией. Возможно, у него есть способы вызвать подмогу, но по ряду причин он не делает этого. Может быть, крушение судёнышка — его рук дело. В эту компанию попадают Х и У.

Ницше пишет, что иногда чувствует себя «среди друзей, как среди коров». Согласен. Хотя, разумеется, «среди коров» — всего лишь частный случай. И вариант не из худших.

Шри Ауробиндо: «Человек — самолюбивое ничтожество». Увы. И в связи с этим в конце концов устаёшь от собственного ничтожества. Трудно нести, иметь в виду, ощущать, упираясь в это. Если находишь мужество и время задуматься и быть сколь есть силы честным.

Хармс: «Человек человеку — бревно». Так. Но, замечу, «бревно» — хоть какая-то ценность. Случается, человек человеку… как нет.

«Ложь хуже воровства»? Скорее — форма воровства. Часто его начало, иногда — жульничество как таковое. В чистом виде разного рода присвоение: похвальба, преувеличение и прочее. В косвенном — оговоры, сплетни, интриги. Ложь — причина и следствие воровства.

Нахожу в облаках действие, которое чрезвычайно символично. И предполагает участие. Если владеешь языком и палитрой.

А то можно, к примеру, организовывать пейзаж на холсте (совсем как живой, даже лучше!). Или — записывая в рифму мысли (тайные и всем известные), — складывать стих. А там, глядишь, и мелодию, да! Выращивать что-нибудь непредсказуемое, каждый раз поразительное. Новенькое даже для самого себя.

Шиш — вариант условной денежной единицы. Один шиш, два полновесных шиша. Три государственного банка шиша, подделка преследуется. Конвертируемы. Телесного цвета купюры для расплаты за удовольствия. Шиш со смаком. С «просто таком». С дыркой от бублика.

«Так-сячина», «на-всякий-случина», «не-очень-то-хотенция», а бывает «хотенция», но не очень. Возможный, но не обязательный десерт.

(Не)носибельные башмаки, (не)смотрибельная картина, (не)подойдибельная девушка… неподойдибка, или, наоборот, — подойдибушка!

Время — продукт скоропортящийся. Прошлое? Как не со мной! И что, это печалит? Да ни в коем случае! Что бы я стал делать с тем, что прожито больно и бессмысленно? С бездарным и отвратительным? То-то, брат.

— Да, наступает время. Пора уходить из этого мира. А ведь как я научился в свои сто двадцать стирать воротнички рубашек! И гвозди заколачиваю идеально. Из ста сто. А как выбираю арбузы?! Чутьё. И, без ложной скромности, навык такого уровня — стоил напряженного труда. Обидно. Между прочим, сколько ещё не успел, не освоил, не довёл до ума! Попадаю в бегущую цель, плюнув через левое плечо, увы, единожды из трёх раз. Да и то если днём и в безветрие. Жаль прощаться.

Сегодня уже можно и нужно честно определить: окружающий мир никогда не представлялся мне собственностью. Напротив, я чувствовал себя неуклюжим и прожорливым двуногим — на территориях нежных и хрупких, полных таинственного смысла. В местах, исполненных идеально, не по человеческим законам, и существующих вполне независимо. Милосердно

позволяющих к себе приблизиться, сделаться фрагментом, частью. Какое-то время пользоваться единым местом действия как Даром.

Ну, и в связи с этим для меня человеческое счастье — временно. Оно приходит как будто вполне независимо и, если строго прислушаться к себе, не принадлежит никому. Ты можешь быть носителем этой ничейной доли. Счастливы, собственно, некие сферы пространства, индивид вкушает от всеобщего.

В свою очередь, боль не индивидуальна. Боль — достояние вселенское, нам даётся её частица, фрагмент, который, по возможности, не уничтожит организм.

Оба переживания — суть энергия, которая вдохновляет, воспитывает, умеет очистить или хмелит, низводит душевно и физически. Но болят и радуются территории, области, пространства вне нас. Живущему позволено приобщиться.

Когда С. заболел, то вдруг почувствовал, как много у него… органов! Оказалось, что естество состоит из желудка, печени, селезёнки и так далее, которые можно воспринимать по отдельности. И каждая часть организма умеет недомогать по-своему, вполне индивидуально. Такое открытие испугало. С. потратил немалое время на изучение оттенков хвори.

— Здоровый человек не замечает составляющих организма! — вспоминал С. — Какое прекрасное неведение!

К счастью, С. выздоровел. Значит, естество стало единым, а сознание вернулось к счастливому неведению.

В одной из записных книжек задержался апрель. Для кого-то (или для меня?) будущего. С холодным солнцем, сочной палитрой облаков, собраньем вздохов и дуновений из поднебесья. С голенькими еще деревьями, прохладой, ожиданиями, надеждами.

Я и август.

Однажды я наконец понял, что август — мой месяц. Что мы любим друг друга давно и преданно. Что очевидно и давно предпочитаю именно такое «продолжение прошлого в настоящем». Жду румяных листьев, дождей, прохлады, а иногда — солнечных, самостоятельных в этой прозрачной освещённости, почти отстраненных дней. В которые более всего пишется, думается, любится, живётся.

Восьмой месяц года. Счастливая для меня цифра выглядит так: два нолика — поболее и меньший соединились. Отпочковывается детёныш? Или «битый небитого везет»? Может быть, больший подставил спину, чтобы меньший с высоты хорошенько разглядел то невероятное, что ожидает впереди? Там, в пространствах долгожданного будущего…

Август — старший товарищ — восемь двенадцатых года… две трети срока, отпущенного на очередную прогулку вокруг солнышка, прожито! Господин в возрасте. Преклонного времени, но не дряхлый… хотя, сегодня мы будто уже и ровесники?

Что-то ещё… Август мудр, и мудрость его от природы наивна (не путать с «простенька»!), он тактично ненавязчив погодой, непременной жарой или обязательным морозом. Нет, в это время ты свободен выбрать легкую рубаху или свитер с косматой шкурой. Ну и, кажется, никогда ночи не случаются такими бескрайними, со звёздами, набухшими от зрелости и желания… чего? Счастья, радости, прочего человеческого. Наши желания, отражаясь в млечных зеркальных объёмах, накапливаются к восьмому месяцу года. Вызревают, чтобы разродиться в сентябре самостоятельной метафизической жизнью. Незаметной, но вполне ощутимой нами, человеками. Впрочем, явленье нового — с болью и криком, роды — с водами и грязью назначены на сентябрь, а у нас ещё август. Сросшиеся нолики. Беременный организм, две жизни которого до времени едины.

Здесь мои дни, если в мире позволено владеть хоть чем-то неуловимым и летучим. Дни, когда время любит меня, жалуя и предпочитая из окружающих и прочих. Хотя, разумеется, уместна поправка: «жалуя и предпочитая с окружающими и прочими».

Достаточно привычно звучит: «перевод с… английского», с других языков. Ну, а «перевод с языка параллельной реальности»? Вольный пересказ с «над-человеческого»? Выдержки из объема Истины? Не есть ли часть нашего творчества такой перевод? И, как всякое воспроизведение, более или менее качественный и талантливый перевод. Ближе к источнику — дальше от него. Пересказ, подражание, мотивы Истины.

— …А ещё мне нужна буря. В крайнем случае гроза.

— Нет.

— Как же так?

— Гроза — в сейфе. А ключ украли… ключ, пожалуй, я оставил дома.

— Подберите другой ключ. Или взломайте сейф.

— Другого ключа не существует. А взломать хранилище для грозы… такое, извините, даже представить жутко!

— Но мне нужна гроза!

— Сожалею. Ничем не могу помочь.

Ну, а метель, по аналогии, конечно, в холодильнике. Ночь — под одеялом, дожди — в специальных (а, может быть, в самых элементарных и таких знакомых) бутылях или даже пузырьках тёмного стекла… что ещё? Солнце, то есть огонь, здесь, под сердцем. А далёкие звёзды мы храним в глазах любимых девочек и женщин.

Искусство (если всерьёз) не спасает, не защищает, не… утешает, направляет, баламутит и так далее, но обязывает. Ты должен. В нём. Рядом с ним, с искусством, в поисках его, владея им, — должен. Миру, себе, Господу, который милосерден.

Почему в четырёх строках стихотворения я нахожу часть (крупицу) от объёма осени, реки, поля, прочего, о чём может написать поэт? Более того, вступая в очередную, новенькую осень, я уже проецирую на окружающее известные метафоры, как бы дополняя его. Четверостишье поэта в моем восприятии уже является частью «осени вообще». Удачный образ — часть содержания, то есть «вещи в себе» по Канту, «нумена». Но ощущать стихи — это или Дар, или серьёзный труд, итог воспитания. Отсюда понятно, почему большинство предпочитают дрянную прозу или популярные куплеты. Не хочется напрягаться. Не разработан мускул творчества.

На сцену выходит Вамскажуя (Петрович, к примеру). В той же пьесе — грек по имени Шумадраки.

— Где Шумадраки?

— Нету его. Не случилось. Сбежал.

А ещё персонажи: Обнимал Говорилыч, Плюнь Плюныч. Господин Добудька, запросто исполняющий чепухури прямо из воздуха. Его дочь — шестнадцатилетнее малольгдетище. Девочка Ша. Остальные буквы потерялись. Или где-то гуляют.

— Может быть, Красная Ша?

— Нет, просто Ша.

Когда она найдет себе Ма, эта история закончится.

И массовка: Провожайло, Умывайло, Пейдоднаров.

— Да, я слегка опаздываю. Но прихожу день в день. Какие могут быть обиды!

Допустим, не кто иной, как я сам, программировал свою предстоящую (то есть сегодняшнюю) жизнь. Допустим, это делалось со мной: при участии

сознания, которое воспринимает себя как самостоятельное «я». То есть заранее были определены возможные цели, намечены варианты обстоятельств. Когда это было? Разумеется, до рождения! В период телесного несуществования. Никто из нас не ощущает этого времени именно (предположим!) для чистоты последующих выборов и действий в многообразии ситуаций. Итак, молоденький организм не имеет информации о прошлом своего сознания. Ряд прожитых лет предоставлен мне, сегодняшнему, как процесс обучения. Как время, за которое нужно решить некоторые практические задачи, сделать выводы (то есть осмыслить). Приобрести… или, скажем, так: взять положительный опыт этого периода в основу создаваемой индивидуальности. В сердцевину будущей личности. Которая формируется (предположим!) в течение ряда жизней. Планируя таким или иным образом собственную судьбу, я не удержался бы от подсказок. Имеются в виду намёки на правильное решение в «хаосе» вероятностей жизненных потоков. Ясное дело, в хаосе видимом, ложном. Нужно искать такие подсказки, которые, наверное, требуется ещё заслужить! Которые должны раскрываться на определённом этапе развития. Когда ты достаточно подготовлен для диалога с собой прошлым. Где искать? В обстоятельствах. Событийном ряде. Скажем, потенциал здоровья, данный каждому. Возможность немедленного и жёсткого воздействия на личность в случаях неправильных решений, отступлений от программы, ошибок в ней.

Думается, что Зло невозможно победить… в смысле «уничтожить», «сломать», «осилить», «истребить», «погубить» и так далее. Эти и прочие разрушительные действия предполагают борьбу способами, приемами, методами Зла. Оглянуться не успеешь — примеров «тьма» (в прямом и переносном смысле!), как и сам уже бяка изрядная. Предполагаю, что Зло можно всего лишь сдержать, не подпитывая энергией своей жизни, вернуть его во тьму ни с чем. Отправить на территории, где существует логика Зла, из этих мест, где от такой логики сознательно отказались. Где другие смыслы и способы их достижения. Как видится, противопоставление — действенная и, главное, реальная форма существования со Злом, которое неуничтожимо. Увы, или к счастью? Далее — способы такого сопротивления, сказать точней — противостояния. Для Зла не существует правды-справедливости-милосердия. Злу это чуждо и смешно. Пытаться объяснить, а тем более заставить быть добрым, невозможно. Только отодвинуть. Собственно, борьба за тех, и меня в том числе, кто и там, и здесь. Не всегда добрых, местами злых. За тех, кто умеет уходить и возвращаться.

Мальчику дауну подарили на день рождения множество подарков. Он разложил их на кровати. Что-то из одежды. Конфеты и фрукты. Звери, машинки... игрушки заводные и мягкие. Нарядные, новенькие, разные. Какое-то время мальчик растерянно смотрел на всё это богатство, а потом… горько заплакал!

— В чём дело?

— Что случилось?!

— Почему ты плачешь? — изумляются родственники и гости. Пытаясь утешить, как-то исправить ситуацию.

Именинник успокоился нескоро. Плакал до тех пор, пока кто-то не догадался отвести его в сторону от груды нарядных подарков.

— Он… — мальчик ткнул пальцем в грудь (говоря о себе в третьем лице), — он не знает, что он хочет!

Как стало понятно, бедняга не знал, что выбрать из множества замечательного. Оттого и слёзы. Для меня эти слова стали формулой трудности выбора вообще в ситуациях, когда варианты многочисленны и желанны. Тогда-то и я, М.С., в положении «он не знает, что он хочет».

Один рыжий кот решил с завтрашнего дня петь. Говорить-то он всегда умел, но не желал: свои неправильно поймут, а остальным говори не говори… Да и неуместно солидному коту опускаться до объяснений с прочими. И так сойдет, перебьются! А вот с музыкой как-то слабинка вышла — напевы самые невообразимые одолевали рыжего, темы так и просились на волю, в окружающие пространства. Из-под сердца поднимались созвучия, толпились в горле. И каждая нотка требовала свободы, а что такое свобода, знает и ценит любой хвостатый, тем более рыжий. Пожалуй, наш сразу решил: петь самому себе неинтересно. Нужен знаток, ценитель, который сумел бы разделить удовольствие. Но где найти такое существо? Кому вообще имеет смысл петь в этой жизни? Может быть, ветру или звёздам?

Леша С.:

— Наверное, профессионал отличит один этюд Скрябина от другого. Большинство дилетантов в лучшем случае не перепутают, скажем, его и Шопена. Но сам Скрябин — стиль, манера — неподражаем. И это Музыка. Прочее — мнение о музыке. То, что рядом. Музыка — это улучшенная тишина. Но самое интересное (смысл) — в паузах между нотами.

Я:

— Стало быть, ноты (звуки) вообще — грани тишины. Оправа? Или орнамент? Хранилище. Сосуд для тишины. Иногда бокал, а бывает — мусорный бак.

Когда птичье крыло режет воздух, может и должна возникать мелодия. Иначе говоря, рассекая воздушную плоть, крылатый вполне способен строить мотив, исполняя нечто гармоничное. Он — часть инструмента, аналог «смычка», где воздушные потоки — эквивалент струнного набора. Уплотнённая атмосфера — подходящий источник для извлечения звука на скорости, от смены которой, вероятно, должны зависеть ритм, темп, динамика. В конце концов, в птичьих полётах мы наблюдаем единство и разнообразие ритмов, и какие! К слову, флейтист или трубач организуют ту же субстанцию, которая там, под небесами, завывает и посвистывает, именуясь ветром. Вообще, мир — это музыка, то есть гармония, дарованная ещё и в звуках. Хотел бы я представить мотив, сотворённый, скажем, раскрывающимся бутоном. Хотел бы конструировать мелодию из элементов, казалось бы, несовместимых. Соединяя стук сердца, звуки капель, плеск волны, шорохи и вздохи, остальное бесконечное. Впрочем, не «конструировать», нет! Скорее, пытаться зафиксировать, повторить то, что в тебе самом. Нужно только прислушаться, если повезёт услышать.

Р. Штайнер «Королевское искусство в новой форме»: «Миссия человеческого рода на Земле — преобразовать земной шар посредством искусства, преобразуя минеральное на основе человеческой мудрости... в будущем он (человек. — *М. С.*) овладеет живым». То есть научится творить из этого материала тоже. Какие (моральные и прочие) ужастики будут вызваны к жизни, начнут вынужденно существовать по вине или прихотью наделённых властью «творцов»? Правда, Штайнер говорит о преобразовании «на основе человеческой мудрости». И это, понятно, главное условие! Хотя человечество торопится. Позволяет себе преобразования разного рода, оставаясь морально несовершенным.

Если набраться храбрости вспомнить, что всё сегодняшнее имущество цивилизации было сначала задумано, а потом в нелегких трудах исполнено, что огромная, изощрённая культура воплощенного человеком в неживой материи — это множество побед в освоении и подчинении пространства… что рукотворные предметы несут в себе заряд любви, усилий, творчества поколений… если представить себе всё это, — становится понятным, насколько ты богат (в рамках общечеловеческого наследия), как невелик в работе на себе подобных. Где и в чём твоя доля труда, прозрений, реализаций и т. д.? Ты посадил дерево? Написал ряд строк? Изобрел часть велосипеда? Или пользовался всеобщими Дарами, ни разу не задумываясь, что хорошо бы и самому поучаствовать?

Человек милосердно защищён оболочкой, не позволяющей ощутить бесконечность связей. Он окружён конкретными предметами (их множество!), которые отвлекают разум на частное. Видимо, невозможно постоянно иметь в виду даже ту, малую, сегодняшнюю долю знания относительно каждой структуры (предмета). Мир — предусмотрительно конкретен, защищён от Всеобщего, которое, бесспорно, присутствует, не открывая себя. Почему, то есть зачем так? Чтобы человек, как набор элементарных ощущений, как разум, имеющий право на ряд (наверное, линейный ряд) выборов во времени, изменяясь качественно, сохранил форму. Разумеется, духовную. Вышел на результаты, необходимые… для дальнейшего в бесконечном Всеобщем.

Почему, если начнётся война и взорвется вообще всё, никого и ничего не останется, — почему она всё-таки может начаться?

Почему два десятка крепких молодцев гоняются на зелёной лужайке за пузырем из синтетического латекса, толкаясь, падая и вставая, пыхтя и мучаясь? Зачем многочисленные наблюдатели, сидящие на скамейках стадиона, свистят, трубят в дудки, орут и сочувствуют изо всех сил? Отчего я тоже не безразличен?

Почему каждый раз нескучно слышать, что ты — добрый, храбрый, умный, богатый, талантливый… замечательный, прочий? От возможно большего количества людей, сообщающих — иногда слово в слово — то, что уже произносилось неоднократно (что, если признаться, не очень-то соответствует истине!)?

Почему, вообще, в этой жизни чего-то не хватает? Здоровья, пищи, любви, знания, солнца, славы, ощущений? С другой стороны, что бы с нами было, если бы перечисленного оказалось в изобилии, без счёта? Боюсь, человечество весьма заскучало бы…

Почему большую часть жизни приходится заниматься тем, чем изо всех сил заниматься не хочется? Что за насилие? Ряды насилия? Обязательные, каждодневные дела. В результате самый счастливый тот, кто научился себя заставить. Тот, кто умеет не сопротивляться каждодневному.

Почему каждый из нас надеется на необыкновенную судьбу, представляет собственные желания оригинальными? Вот — мой дом, со множеством принадлежащего, в том числе здесь исключительно мои счастье и боль. Но судьба, за редким случаем, стандартна вариантами, желания стереотипны. Может быть, каждый — повторимая модель в человеческой серии, которая не бесконечна, но напротив, — не превышает сотни характеров, индивидуальностей, судеб? Да ещё сотня, — чересчур щедро для нас, не обременённых фантазией. Что, если «личное» варьируется всего-то десятком модификаций?

Почему так весело? Потому, что дождиком солнце занавесило. Отчего так хорошо? Оттого, что дождь прошёл! Ты по улицам идёшь, никого не узнаёшь, и крылом просторы режешь, и по-птичьему зовёшь.

Лозунги:

«Если что — давай!», «Найди меня!», «Штормит, как хочется детей!», «Давайте петь за деньги!», «Забудь и в путь!» («Оставь и вплавь!»), «Всем врагам — по рогам!», «Учись настойчиво кусать!»

Темы словесного самовыражения со временем не меняются. Только один пишет: «полковник наш рождён был хватом, слуга царю, отец солдатам», другой, чуть позже: «комбат, ё-комбат» (цитирую по памяти), мол, «ты не прятался за спины ребят». У одного получается: «я вас любил»… «как дай вам Бог любимой быть другим», у другого: «хочешь, ты меня хочешь», «но молчишь». Читатель волен выбирать.

Сочинение Ух! — класса. Рифмы Ого! — уровня. Силой в 300 Э-хе-хе. Величиной в 100 Ну-и-ну. Ничего-себе жанра. В стиле Вот-это-дашенька! Поиски урожая 2003-го года. Коллекция в картинках. Предупреждалочки. Указюли. Напоминалки. Плакалочки.

Н.:

— Мудрёные книги пишут такие, как ты, оторванные от реальной жизни идеалисты. Начитавшись друг друга, вы долго и серьёзно рассуждаете о том, как и зачем надо бы жить. О том, чего не знаете, чего ни разу даже не пробовали по-настоящему. О местах и территориях, где всё наоборот, не по-книжному.

…В переполненном маршрутном такси на сиденье за спиной водителя расположилась мама с семилетним мальчиком. Тот без удовольствия грыз огромное яблоко.

— Червяк… — откусив очередной кусок, замер мальчик. — Червяк! — заорал он, отбрасывая яблоко прямо перед собой.

Тяжелый плод попал в глаз не очень трезвому мужику, сидящему напротив.

— Ё-ё-ё! — удивился мужик, заваливаясь в сторону. Плечом на грудь толстушке, справа от себя.

— Ого! — возмутилась дама. — Как вы смеете?! — топнула она модельной туфелькой.

— У-у-у… — скорчился от боли господин, на местах через проход, в ногу которого именно и впился остренький каблук. — У-у-у! — мучился он, поскольку, чересчур резко согнувшись, боднул лбом сидящего впереди офицера.

От неожиданности офицер вскочил на ноги, чего, понятно, в низеньких, тесных микроавтобусах делать не следует.

— Бум! — загудела крыша машины (а может быть, громыхнуло под фуражкой военнослужащего).

— Ё-ё-ё! — прикрыв ладонью глаз, стонал мужик.

И оттого, что мальчик всё вопил про червяка, господин корчился, вскрикивая от боли, а дама повизгивала, желая возможно скорее сбросить с колен ушибленного в голову офицера, водитель микроавтобуса, в свою очередь, занервничав, чересчур резко ударил по тормозам. Машина крутанулась на шоссе. Пассажиров бросило сначала на левую стенку микроавтобуса, потом всех вместе шибануло в правую.

И так далее.

Молодая мама везёт коляску. Поздний вечер, на улицах темно, пустынно.

Мама *(тревожно)*: — Как мы будем домой добираться?

Ребенок: — Ну, чего ты боишься, я же с тобой!

Несколько месяцев подряд всей семьей учили говорить попугая. Ничего не получалось. Наступило лето и все, кроме попугая, уехали отдыхать к морю. Птицу на время отдали старушке-пенсионерке, соседке по лестничной площадке.

Когда лето кончилось, вернулись в город. Старушка принесла клетку с попугаем. Все уселись за стол, пить чай с конфетами. Позвали к столу и птицу, отворив дверцу. Попугай вышел из клетки. Встряхнувшись, произнес хриплым, болезненным голосом:

— Ох, как ноги болят!

И полетел! С тех пор, перед тем как взлететь, попугай жаловался на больные ноги.

Тоталитарная держава, в которой самый большой государственный секрет — список, где перечисляются разрешённые гражданам действия. То, что допускается, не возбраняется, рекомендуется.

— Как же быть?

— Просить письменного разрешения на каждый отдельный поступок.

— Лицензию?

— Что-то сходное. Иметь соответствующее удостоверение или хотя бы подпись и печать.

— А как с мыслями и желаниями?

— Мысли держать при себе, фиксируя тезисы на соответствующих бланках. Желания утверждать. Обсуждая на конференциях.

Между прочим, я жил в подобных местах лет тридцать.

В 79-м году, в один из дней моей работы в качестве режиссера в театре-студии, на Саяно-Шушенской ГЭС объявили, что ближе к вечеру гидростроители собираются перекрыть Енисей. Поселок Ч. — место действия — находился перед рекой, за которой полоска суши у подножия крутых холмов. Слышал от местных, что холмы «давят». Угнетают будто, нагоняя печаль. Пытался ощутить. Нет! У меня другое. Я к ним, к холмам, небезразличен. Они манят. Я, наверное, хочу какое-то время быть холмом (сегодня покрытым щёточкой сосняка). Сделаться холмом — громоздким и независимым. Такая форма «холмопоклонничества». Итак, день начался поздненько — я хорошо выспался — перекусил в рабочей столовой, вышел под солнце и синее небо в сосновый лесок, который начинался прямо в улицах. Вспомнил про Енисей. Прибавив шагу, двинулся к реке — тёмной и быстрой. Холодной, почти ледяной и, помнится, от сильного течения упругой. К живому пространству воды, которое плещет, подаёт голос, дышит в берегах, что ещё? Серебрится на солнце. Выйдя к Енисею… обомлел! От тишины. Глубокой и безжизненной. С тех пор я знаю, что такое, когда тишина стоит «мертвая». И пустота, отсутствие… потеря чего-то главного. Как вытек глаз или обрубили ноги. Как изъяли пол человеческого лица. От реки осталось русло: широкая тропа крупных (с человечью голову) белых гладких камней. Какое-то время я ждал, когда придет ощущение гордости от человеческой силы, совладавшей… и так далее. Дудки! Чувство катастрофы, грандиозного насилия над природой, беды. К счастью, следующим утром река вернулась. Дышать, подавать голос, серебриться на солнце.

В стране, где прошла моя молодость, многого не хватало. Одежды, книг, еды, остального бессчетного. Время от времени для немногих избранных устраивались «распродажи». Происходило это где-нибудь в местах, куда случайный человек попасть не мог. Помню очередь за редкими предметами в фойе Кремлевского дворца, перед праздничным концертом, в котором каким-то образом участвовал. Нас, артистов, допустили в эту очередь. Позади

меня (в стране — равенство!) стоит генерал в парадной форме. Грудь — от подбородка до штанов с лампасами — в орденах и медалях. Уже перед самым прилавком генерал упёрся мне в спину кругленьким, мягким животом. Пытается через плечо моё оглядеть прилавок. Я слышу, как позвякивают боевые награды: генерал дрожит телом в предвкушении удачной покупки.

М. — длиннющий, узенький в плечах исполнитель комических ролей. Актер, которого выпускают на сцену голым по пояс, если нужно зримо представить на сцене трудную судьбу аскета, политического узника, голодающего бомжа. Он человек яркого таланта, ведущий актер театра, выпивоха и балагур. Среди достоинств — способности разделить последний грош, пить не пьянея, дерзить, драться и насмешничать по поводу и ни с чего. «Гусарить». Если угодно, «актерствовать», М. — старший товарищ, от которого ушла жена. Я был немного знаком с этой женщиной — милой и, кажется, безответной. Шумной, не очень трезвой компанией мы частенько вваливались в гостеприимный дом, где чуть заспанная жена М. спокойно принимала нас далеко за полночь.

— Да! — хвастался М., обнимая её. — С женой мне повезло. Удивительные самоотверженность и понимание специфики творчества! — опустившись на колени, он неспешно и с удовольствием целовал её ладошки.

Мы кричали «ура». Расположившись за столом, провозглашали что-нибудь достойное в её честь, цитируя текущий репертуар или спектакли, которые только готовились к выпуску. К утру жена М. незаметно исчезала, чтобы перед работой вздремнуть хотя бы пару часов. М. не возражал. Наша компания отсыпалась позже и в полной мере. Актёрское ремесло предполагает некоторые излишества.

Итак, в один печальный день, жена нашего друга ушла к другому мужчине. Не суть важно, как это случилось, главное, произошло драматично и стремительно. И, оказалось, безвозвратно.

— Безденежье, дрянной пафос и амбиции! — сказала она на прощанье. — Я бы сбежала от этого рано или поздно.

В общем, нужно было спасать М. В прямом, самом буквальном смысле. Он, и без того худой, сделался плоским, начал загибаться крючком. Выглядел необычно серьёзным… Вот что: увядшим, как сухофрукт! Разумеется, М. должна была спасти другая женщина, новенькая. Хотя, сам он, конечно, мог не захотеть такой помощи. То есть отказаться от избавления столь банального, элементарного. Но приятного и, главное, надёжного. Впрочем, по порядку.

Играли пьесу Лопе де Вега, спектакль известный москвичам и многочисленным гостям столицы: в то время билеты в наш театр предлагались зрителю в комплекте, как обязательная «нагрузка» к зрелищу более популярному. С унизительным понятием «нагрузка» знакомы соотечественники моего возраста. Счастливый неведением читатель нынешнего времени — смотри словарь! Отыграв первую сцену, я задержался в кулисе, у режиссёрской будки, посмотреть на М. Сегодня персонаж его казался особенно нелепым, что на удивление совпадало с линией роли. М., соответствуя логике спектакля, был несчастен, и зритель, тонко чувствующий сценическую правду, получал немалое удовольствие. Смотреть было смешно. Насколько больно, настолько и смешно. Я отправился в гримёрную и дальше, в закуток телефонной будки.

Для меня, не связанного семьей, это были насыщенные годы. Первый стремительный брак, нелепый, как штаны, из которых вырос, без проблем закончился. Хохотушки, лапушки и насмешницы… с распахнутыми глазами и лукавым прищуром, блондинки, брюнетки, девы разного рода и окраса принадлежали или (что в определенном возрасте почти одно и то же!), при обоюдном усилии, могли принадлежать мне. Неряхи, зануды и жадины, понятно, исключались. В окружающем разнообразии существовала Т. — дама, говоря сегодняшним языком, нетрадиционной сексуальной ориентации. Как мужчина мужчину мы уважали друг друга. К несчастью для Т., почти все её многочисленные подружки не стремились к чувственным изыскам, любили с энтузиазмом, но по старинке.

— Спаси моего друга! — прошу по телефону Т. — Предоставь из вашего девического братства «во временное безвозмездное пользование» кого-нибудь особо неспособного к чувственному авангарду. Барышню непросвещённую и консервативную.

— Ладно, — отвечает. — Записывай адрес. Помогу, но с условием. Не бесплатно то есть.

— Ого! — говорю. — Какой прогресс на эротическом семинаре! Неужели ты становишься «профи»?

— Девушек две…

— И что же? — не понимаю. — Две? Но мой друг — не богатырь. К тому же душевно опустошен. Организм не в лучшей форме.

— А ты? — смеётся Т. — Как себя чувствуешь ты? Хватит силёнок, чтобы расплатиться любовью с консервативно настроенной барышней?

— Готов! — говорю. — Для погибающего друга готов расплатиться и такой валютой.

Поздним вечером мы добрались до типового дома на самой окраине города. Позвонили в нужную дверь, которая распахнулась и... В полумраке прихожей нас встретила девушка. Яркий, почти резкий свет освещал её так, что лицо казалось трудно различимым. Отчётливо обозначился силуэт. Я вспомнил линии и формы гибкой фигуры: много раньше, может быть, в возрасте встретившей нас девушки я сделал серию рисунков карандашом. Среди других на листе ватмана была нарисована она, до сегодняшнего дня незнакомая, сошедшая с рисунка десятилетием позже.

В середине девяностых начались перебои с зарплатой на государственных предприятиях. Стали закрываться учреждения, институты. Зато появился частный сектор. Оставалось научиться торговать. Хоть бы и самим собой! Я обзвонил друзей, знакомых и, наконец, малознакомых. Выяснил, что на артистов, о которых никто не слышал, тем более на нечитанных поэтов, спроса нет. На всякий случай звоню С. О., полтора десятка лет тому назад, работая в театре, сидели, помнится, в одной гримёрной. Он, по слухам, удачно режиссировал где-то на эстраде, в модных клубах и ресторанах.

— Нужна работа, С. Нет ли чего подходящего?

— Есть! — прямо-таки восторженно кричит он. — Замечательно, что ты объявился! Я как раз ищу кого-нибудь твоего плана, а главное опыта!

— Вот как?

— Да! Ты не растолстел? В форме?

— Пожалуй, что в форме.

— Сто баксов за ночь тебя устроит?

— За ночь? Собственно, что ты имеешь в виду?

— Представь себе необозримый космос!

— Как? Что представить?

— Необозримый космос. Бездну, пустоту, бесконечность. Представил?

— С трудом. Зачем это?

— Тебе в самом деле нужна работа? — интересуется он вполне официально. Даже несколько жёстко.

— В самом деле нужна. Но не любая работа.

— Ладно, не дёргайся раньше времени. И потом, это только для начала, сто баксов за ночь. Гонорар зависит от конкретики.

— Что нужно делать?

— Чудесно, что ты позвонил! Мне нужен актер мхатовской школы, твоего плана, прошедший академический театр. Да ещё и романтик. Стихи-то всё пописываешь? Или бросил?

— Пописываю, черт тебя дери!

— Вот. Разумеется, я не ошибся. Нужен исполнитель темпераментный.

— Ну?! Рассказывай, что за работа. Колись, сукин ты сын!

— Представь себе необозримый космос.

— Чтоб тебя, с необозримым космосом… представил.

— Не верю. Халтуришь, по голосу слышу. А баксы в нашей антрепризе, знаешь ли, на дороге не валяются. Итак…

— Сделано. *(Глухо и мрачно.)* Мы в космосе. Здесь холодно и пустынно. Бездна, пустота, бесконечность. Одиноко и…

— Очень правильно по ощущению. Верю. Одиноко, и? Продолжай!

— И…

— Ну?

— И баксы не валяются. Будет выламываться, С.! Что за антреприза? Говори, или я бросаю трубку.

— Ладно. Из уважения к нашему театральному прошлому… представь, космос… в его тотальной бесконечности, где-нибудь на краю, в самом глухом углу…

— «В глухом углу тотальной бесконечности»? Сильно сказано.

— Это рабочий образ, не придирайся! Обозначение места действия в предлагаемых обстоятельствах. Стало быть, где-то на донышке бездны...

— О! У твоей бездны — донышко?

— Ещё слово, и ты уволен! В смысле, не принят на хорошо оплачиваемую работу.

— Прошу прощения, мэтр, я весь внимание. Если не ошибаюсь, мы остановились «на донышке бездны»?

— На противоположных полюсах бесконечности — две былинки. Ты — одна из них. Задолго до того, как вы увидели друг друга, возникает ощущение некоторой странности, непустоты пространства, присутствия в необъятности подобного.

— Понимаю. Возникает «ощущение присутствия». И что же?

— Даже, скорее всего, появляется всего лишь надежда на то, что такое невероятное чудо может произойти, сложиться. Ещё не решаясь в это поверить, сдерживая себя, былинки устремляются друг другу навстречу. Наконец, через некоторое время становится возможным увидеть себе подобного. Момент встречи — откровение. Потом почти чувственное наслаждение от процесса постижения. Далее, обоюдные попытки сделаться ближе, понятнее, ощутить такого, как ты, только лучшего. Каким образом? С помощью данных пяти чувств. Ладонями, губами, кожицей щеки и бедра. Итогом — попытка единения. Чтобы взять и, одновременно, отдаться до дна.

— До дна бездны?

— Почему бы и нет? Единение и вселенское счастье до дна музыкальной бездны, оформленной светом, голографическими эффектами. Зрелище в постановке модного балетмейстера и не последнего в своем жанре режиссёра.

— Былинки, разумеется, голые?

— А ты можешь себе представить былинку в трусиках? В штанах и при шляпе?

— Порнушка!

— Эротическая пантомима. Ладно, не пыхти в телефонную трубку! Ты будешь в набедренной повязке. Но партнерша работает обнаженной. Что, как помнится, стимулирует обоюдное творчество. Что скажешь?

— Спасибо, но… Воздержусь, пожалуй.

— Зря. Хорошие деньги упускаешь.

— Не в первый раз.

— Помню, что не в первый, в одной гримёрной сидели! Уговаривать не стану, живи нищим виршеплётом. В трусиках и при шляпе. Хотя, если честно, мне нужен актёр твоего плана…

И много чего ещё, с вариантами. Былинкой в набедренной повязке сделаться не случилось.

Надо принять это время, когда, кажется, в воздухе — отчаяние, а общее неверие в завтрашний день материализуется между небом и землёй корочкой, болячкой, которая разрастается, пытаясь перекрыть звёздную бездонность над головой. Надо прожить и такую данность с помощью известных с детства способов: «вопреки», «несмотря ни на что», «хотя, казалось бы». Забавно, если не нервничать и быть внимательным, заметишь, что бессмыслица, перетряхнув себя, демонстрирует не более чем новенькую изнанку. Она выглядит запредельной, отвратительной и фатальной единственно из-за своей непривычности, когда именно то, что представлялось тайным, с удовольствием демонстрирует себя на каждом шагу. Однако качественно ничего не изменилось: мир — тот самый, знакомый, в котором я родился и немало лет живу. По-прежнему существуют жадность и доброта, знание и невежество, прочее, — выбирай! Трудность сегодняшнего дня в том, что бессмыслица стала активной. Времена активной бессмыслицы. Её урожай. Перебор, то есть критическая масса. Грани и краешек. Но всеобщая грань, где находится твой личный краешек.

В очередной раз представляю себе будущее. Скажем, лет через сто.

Люди — красавцы и красавицы — примерно одного возраста. Результат генной селекции, трансплантаций разного рода, реальной возможности

заменить большинство членов и органов человеческого организма. Плоть — набор клеток с многочисленными возможностями регенерации. Личность меняет оболочки, как одёжку. Старости (то есть ветхости плоти) не существует. Моды сезона на лица, фигуры, характерные черты. Неисчислимы сочинения (исполни сам себя!) в жанрах «стёба», «веселухи», «прикола»: ужастики, жутики, гадёныши, прочее, неприглядное, но забавное, с точки зрения исполнителей. Граждане стандартного общества проводят большую часть дня в психофантазиях, объёмных сенсорно активных сериалах, которые транслируются круглосуточно. Сознание отключено, оно действует в очередном приключении (за серьёзные провинности кого-то из нарушителей могут лишить на время психо-стереоиллюзий). Башмаки (разумеется, фирменные) автоматически приводят каждого по собственной пешеходной тропе в нужное место. Таким образом, заранее программируется направление, чтобы во время пути не отвлекать рассудок от сеанса. Так же бессознательно граждане трудятся. Исключение — охранные службы, верхушка (мыслители, промышленники, политики, координаторы). Есть также «сектанты». Те немногие, кто не признает иллюзии психо-стерео. Наверное, это люди, которые сознательно отказались от смены физической оболочки, проще говоря, от преимущества «вечной» молодости. История о том, как «несовершенные» пытаются сохранить род человеческий, его мораль.

Мир без Бога? Какая мясорубка! Где каждый будет стремиться ловчее «срубить» ближнего. Мир, который долго и мучительно пожирает самого себя. Тупиковая форма развития. Рак. И хотя предполагается, что разум научится лечить вместе с прочими и эту болезнь, в идеале своем жизнь — гармония, соразмерность частей, элементов, а гармония — это Бог.

Жизнь, увы, не мечта. Но путь к мечте через преодоление самого себя. Бескорыстие — серьезная доля, ступень, элемент мечты. Бескорыстие в человеческом смысле — отказ в пользу ближнего. Отсюда: чувство это (такая позиция, логика) должно быть конкретным относительно чего-то или кого-то. Небескорыстен даже мотылек, личинке которого необходима пища. Когда (и если) у человека исчезнет необходимость в еде, одежде, продолжении рода, когда талант и знания станут потоками энергий, от которых позволено вкусить каждому, корысть станет бессмысленной. Здесь начнется нечто качественно иное, трудно представляемое, идеальное с сегодняшней точки зрения. Но каждый из бескорыстных приближает это время. Может быть, копит энергию. Создает предпосылки. Зреет вместе с человечеством, переживая «девять обязательных временных единиц» предродового существования.

Широкие плечи иного поколения. Ухоженное тело. Растрепанные кудри. Щёки, торчащие из-за спины, кажется, пахнут лосьонами, кремом, цветочным мылом. Независимость в манерах. Гортанные голоса, невнятная речь с укороченными словами. Там, где глаза, а не пара двугривенных, не стекляшки и не два плевочка… где синь и тьма бесконечности — там, наконец, что-то знакомое, присущее и моим сверстникам тоже. Собственно, человеческие глаза неизменны от Сотворения.

В каких единицах, объёмах, величинах подаёт нам Судьба? Дарит хорошей погодой? Точными формулировками? Судьба вдруг милосердна на догадки и прозрения? На встречи, яркие неожиданности, чрезвычайные случаи? В какой форме просить у Судьбы благоприятного случая? Здесь, где открываются возможности выбора пути, ощущений с вариантами послаблений или, наоборот, испытаний, я «заказал» бы себе любовь-морковь? Новое корыто? Здоровье, славу, удачу?

Так. Я заказал бы корыто-удачу-любовь-морковь и здоровья. Что ещё? Спросил бы ощущений и точных формулировок. И остального, уж, извините. Всё меню!

Искусство так же бесполезно, как, скажем, бесполезна совесть. Процесс умножения потенциала, пожалуй, растителен: так прорастает зерно, зреет кочан капусты, распускаются тюльпаны. Собственно, можно было бы обойтись в этой жизни без тюльпанов, как можно обойтись без многого. Без Африки, к примеру, мне, европейцу, а там, в Африке, — без меня и этих рассуждений.

Конечно, нужно изумляться и радоваться не тому, что сегодня тебе повезло со строкой, образом, точной мыслью и так далее, но тому, что исполненное может существовать вообще, быть запечатлённым в этом мире, пополнить собой (если чутьё не подвело!) многообразие прочего. Которое может быть нужным кому-то ещё. Как находка, часть личного, утешение. Нечто, вполне самостоятельное. А то, что именно ты был при рождении очередного гармоничного, что ж… Спасибо тому, Кто дал.

Притча о художнике

Бог знает когда один художник взмолился о помощи и… вышло как никогда ни у кого. Художник ходил гордый и спросил, раз уж его услышали, помощи ещё. Результат был прекрасен! Художник даже всплакнул. В страхе перед тем, что возникло. Лучше, казалось ему, быть не может. Не смеет

быть. Доказывая, что это не так, Тот, кто помогал художнику, сложил кое-что по-своему Великое. Что случилось с художником? Найдя Великое, он забросил работу. И всё ходил вокруг, раздавленный совершенством. С тех пор художникам помогают очень осмотрительно. Малыми и малейшими долями.

«Русский писатель» — звучит… надёжно. Солидно, как «индийский слон» или «китайская стена». Сочно, как «бразильский кофе» и «французская булка». Писатель — род деятельности человека, странным образом не впавшего в групповое безумие. Хранителя, собственно, смыслов или, если быть точным, этих смыслов «многократно заново открывателя и продолжателя». Русский писатель — реликт. Такой же, как «честь офицера» и «любовь к Отчизне». Чуждый времени элемент — черепок глины с поблекшей картинкой, стоптанный детский башмачок без пары, или вообще прошлая одёжка, из которой давно выросли и хранят на случай, так... Чтобы умилять-ся, возвращая секунды прошлого.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ТЕГЕРАН-1360»

(Начало в № 11,12, 13)

В последнюю среду перед Новрузом папа привел меня к дому Рухи, к 9 вечера, как и договаривались.

Семья господина Рухи жила рядом с нами, на улице Каримхан, в симпатичном двухэтажном особняке на две семьи. В Москве я не видела таких жилых домов, где у каждой семьи по этажу с отдельным входом, общий внутренний дворик с бассейном и садом и общая же плоская крыша, а на ней еще один бассейн с шезлонгами, зимний сад и площадка для катания на скейтах и роликах. Самые маленькие гоняли по крыше на великах.

До войны Тегеран большую часть года жил на своих крышах. Я бы тоже на такой жила: днем там можно загорать и купаться, а с наступлением вечерней прохлады на крыше приятно пить чай, любуясь огнями города. Но с началом войны сидеть на крышах запретили, да и городских огней не стало.

На Чахаршанбе-сури 1359-го (20 марта 1980-го) до войны оставалось ещё полгода. И хотя, как говорили взрослые, иракцы уже обстреляли какой-то приграничный иранский город, никто тогда не думал, что дело дойдёт до бомбежек Тегерана.

Папа позвонил в интерком (слова «домофон» мы тогда ещё не знали) и сказал что-то на фарси ответившему в микрофон мелодичному женскому голосу.

— Сейчас девочки выйдут за тобой, — сообщил он мне. — А я побежал. А то они будут приглашать в дом и обижаться, если откажусь. А если не откажусь, мама мне этого не простит! Я за тобой завтра зайду к вечеру и тогда и посижу с Рухишками.

Папа называл семью хаджи Рухи «Рухишками», подразумевая, что в ней много детишек и вся жизнь вертится вокруг этих детишек.

Скоро я в этом убедилась.

Едва мой папа скрылся за ближайшим поворотом, а он и впрямь не пошёл, а бросился наутёк, из дверей, радостно вереща, выскочили мои подружки Ромина и Роя.

Обе худенькие, подвижные, смешливые и совсем не похожие на московских девчонок. Наши тоже часто хихикали, но обязательно над кем-то. Когда не ссорились, шушукались между собой, старших стеснялись и хлопали глазами. Роя с Роминой были совсем другими. Может, мне так казалось, потому что я не понимала, о чем они говорят между собой на фарси. Но не ссорились между собой они точно и взрослых не стеснялись совершенно. Да и взрослые вели себя с ними на равных, я бы даже сказала — уважительно. Не дергали каждую секунду и не делали замечания при посторонних. Увидев маму подружек, я с тоской вспомнила свою, которая любила в гостях показать мне вытянутый средний палец. Это значило: «Выпрями спинку!»

Марьям-ханум, жена хаджи Рухи, была из тех женщин, по которым сразу видно, что они добрые. Я до сих пор не знаю, как именно я это определяла, но никогда не ошибалась. У добрых людей особый взгляд, от них исходит тепло и ощущение радостного спокойствия. Еще у добрых людей есть запах. Они пахнут уютом, плюшками с ванилью и корицей и свежеотглаженным бельём. Так пахла моя московская няня тетя Мотя.

Марьям-ханум в длинном платье с восточным рисунком и с высокой прической показалась мне похожей на Софи Лорен из кино. Она обняла меня и прижала к себе как любимую родственницу, хотя видела впервые в жизни. По-английски она не говорила, и подружки перевели ей, что я рада с ней познакомиться.

Подружки были постарше меня: Ромине было 12, Рое 13, а их старшему брату Хамиду, у которого я вымогала сладости при помощи волшебной фразы «пуль фарда», — 15.

У Рои была прическа «сессон», как у меня, а у Ромины стрижка «под мальчика». Она объяснила мне, что сейчас это очень модно, и все ее одноклассницы так подстриглись.

Семья Рухи по тегеранским меркам принадлежала к не бедной интеллигенции. Хаджи Рухи происходил из аристократического азербайджанского рода Дарьян из Тебриза — того же города, где корни шахбану Фарах Диба.

При шахе Ромина с Роей ходили в дорогую школу в Саад-Абаде, возле резиденции Пехлеви. Но в последний год их перевели поближе к дому —

на английское отделение армянской гимназии для девочек. При шахе в ней имелось даже русское отделение, а обучение было совместным. Но после исламской революции школа стала только для девочек, что было, конечно, скучновато.

Я и сама ходила в эту школу, но только на уроки английского в свой 3-й класс, четыре раза в неделю. Об этом мой папа за небольшую мзду договорился лично с учителем английского, ведь официально посещать иностранную школу советским детям запрещалось.

В 3-й класс армянской гимназии по уровню английского меня определили только потому, что в ней было 12 классов, а не 10, и в детей не торопились впихнуть все и сразу. Но уже в 4-м классе школьники говорили на английском так же легко, как на родном.

Свободно общались на нем и Роя с Роминой. При мне вся семья перешла на английский, а своей маме переводила Роя. Мне иногда не хватало слов, но понимала я все. Поэтому в гостях у Рухишек мне было комфортно. И все они казались мне будто сошедшими с киноэкрана или обложек иранских дореволюционных журналов, которые в изобилии валялись на последнем этаже нашего жилого дома.

Хаджи Рухи напомнил мне шаха Мохаммеда Пехлеви, каким я увидела его на фото в журнале шахских времен, освещающего светскую жизнь Тегерана. А если на хаджи ещё надеть парадную военную форму с золочеными эполетами, то и вовсе не отличишь! Хозяин дома все время улыбался. И даже когда не улыбался, глаза его смеялись, как у моего папы.

Таких просторных квартир, как у Рухишек, в Москве я тоже никогда не видела. Они занимали весь первый этаж дома. Прихожая вела сразу в большой зал, где почти не было мебели кроме огромного телевизора на напольной тумбе, длинного низкого дивана из белой кожи и напольных светильников. На стенах висели старинные картины. Ромина объяснила, что её отец коллекционирует живопись, и если бы не революция, она бы поехала учиться на художницу в колледж искусств Сан-Мартин в Лондоне. Но теперь ничего не выйдет: ислам запрещает изображать людей. Сказала об этом она довольно беззаботно.

Зал соединялся с кухней, где суетилась Марьям-ханум и ещё какая-то женщина. Девочки познакомили меня с ней, сообщив, что её зовут Фереште и она помогает Марьям-ханум по дому.

— Ее имя значит «ангел», и теперь оно запрещено законом! — заявила Ромина.

— Как это? — не поняла я.

— Шариат запрещает давать людям божественные имена, как у нашей Ангел-ханум. Еще соседка наша по имени Эллаха — богиня — тоже теперь вне закона. Мы же теперь живем по шариату.

«Запрещенная» шариатом Ангел-ханум только рассмеялась и шутливо замахнулась на Ромину кухонным полотенцем.

Роя осталась помогать на кухне, а Ромина стала показывать мне дом.

Квартира оказалась поделена на две части: в одной были личные помещения — спальни, комнаты и кабинеты. В «общей» части располагался зал, библиотека, кухня и веранда с выходом во внутренний дворик с бассейном. Рухишки, как и все тегеранцы, называли его на итальянский манер — патио.

В комнате Ромины меня больше всего поразило, что при ней имелась отдельная ванная с туалетом. Я сказала, что ей повезло, а у нас вся семья ходит в общий туалет в коридоре. Ромина очень удивилась и уточнила, ничего ли я не путаю?

— Как в спальне может не быть ванной? А умываться где по утрам? Душ принимать?

— В общей, на всю семью, — пояснила я.

— Но там же будет занято, особенно утром, когда все собираются на учебу и работу! Папа, брат, сестра, мама… — стала загибать пальцы Ромина. — Не, так я в школу опоздаю!

На это возразить мне было нечего.

Еще в подружкиной комнате обнаружилась масса восхитительных вещей — огромные наборы фломастеров, настоящий мольберт, какие-то невероятные пеналы с нарисованными на них девочками в джинсах, огромный двухкассетный магнитофон с колонками и куча кассет в специальных крутящихся подставках.

Мне показалось, что во всем доме Рухи даже пахнет как-то по-особенному — то ли баблгамом, то ли разноцветными и ароматными японскими школьными ластиками, которые у Ромины валялись по всей комнате. А какие красивые у нее были тетрадки! Не зеленые из шершавой бумаги, как у нас, а глянцевые, приятные на ощупь, в ярких обложках с наклейками, источающие восхитительный запах свежей бумаги!

Во всем этом великолепии Ромина вела себя так, будто оно ее не удивляло и не радовало! Да если бы у какой-нибудь московской девчонки были такие несметные богатства, она бы тут же задрала нос!

Все в комнате подружки меня удивляло, все хотелось потрогать и даже понюхать.

Обомлев от восторга, я похвалила синее мохнатое чудище с глазами-пуговками, болтающееся у Ромины под потолком. Подвешенная на пружинке мягкая игрушка порхала по комнате как синее привидение.

Ромина тут же подставила стул, ловко отцепила пружинку от крючка на потолке, раскачала на ней синее волосатое привидение и с размаху ударила им о пол. В ответ раздался громкий раскатистый хохот, моя мама назвала бы такой «гомерическим» и «неприличным». Никогда не понимала, причем там Гомер, но словечко запомнила.

Диковинная игрушка скакала на пружинке и зловеще хохотала мужским голосом, как самое настоящее привидение, дикое и ужасное!

Я замерла от изумления, а Ромина тут же ловко скрутила пружинку, засунула привидение в черный бархатный мешочек с его же изображением и вручила мне со словами: «It's yours!»*. Я пыталась вернуть ей привидение, но она только качала головой и повторяла, что оно мое.

Этот гомерический хохот довел до белого каления не одного учителя первой английской школы в Сокольниках. Еще года два после возвращения в Союз я таскала синее привидение в портфеле и на особо скучных уроках тихонько его там встряхивала, отчего оно начинало громко заливаться мужским смехом. Учителя не могли определить источник звука и одного за другим выставляли из класса всех мальчиков.

На самом деле игрушка называлась «мешок смеха» и в Тегеране была привычной, но в Москве даже не представляли, что так натуралистично гоготать может какое-то устройство. Года через два «мешок смеха» появился у мальчика из параллельного класса, и тогда свой я носить в школу перестала. Мне нравился эксклюзив, хоть тогда я и не знала этого слова.

Как выяснилось позже, папа забыл меня предупредить, что хвалить в персидском доме ничего нельзя — тебе тут же это подарят.

Когда на следующий день я пришла из гостей с мешком подарков, словно Дед Мороз, папа рассказал мне про иранский «тааруф» (правила этикета), попутно рассказав, как однажды был вынужден уйти из гостей с ковром. Находясь в персидском доме, он мимоходом из вежливости похвалил ковер. А когда собрался уходить, обнаружил этот огромный ковер свернутым в рулон и стоящим у двери. Когда папа стал прощаться, гостеприимные хозяева вручили ему рулон со словами: «Он ваш!» Папа рассказал, что пытался отбояриться от ковра под предлогом, что он большой и тяжело тащить, но хозяева тут же заявили, что до папиной машины ковер донесет их старший сын.

— Если иранец уже объявил, что дарит тебе вещь, отказаться, смертельно его не оскорбив, уже невозможно, — пояснил папа. — Но если иранский

* «Оно твое!» — (англ).

хозяин спрашивает, не подарить ли вам эту вещь, отказаться нужно не менее трёх раз, не то все равно подарит.

Мои отказы принять в дар «мешок смеха» прервала Роя, позвавшая нас с Роминой к столу.

В еще час назад полупустом зале откуда-то появился большой стол и стулья с высокими спинками, как в кино про аристократов прошлых веков.

Фереште очень уговаривали поужинать с нами, но она наотрез отказалась, и Марьям-ханум отпустила её домой, сказав, что со стола уберёт сама.

Стол был сервирован в полном соответствии с книгой «Как себя вести», читать которую заставляла меня мама. Это пособие, переведенное с чешского, содержало в себе инструкции по хорошему тону на все случаи жизни. Больше всего мне нравились картинки: они иллюстрировали дурные манеры и потому были смешными.

Например, толстый дядька с салфеткой за шиворотом, как у малыша, размахивающий вилкой, зажатой в правом кулаке, и разговаривающий с набитым ртом. Он даже не замечает, что от него во все стороны летят кусочки пищи, и соседи по столу прикрываются салфетками. Мама добавляла, что русская поговорка «Когда я ем, я глух и нём» с точки зрения этикета тоже неправильна. За столом следует вести легкую ненавязчивую беседу, но высказываться только когда прожевал. «Кто некрасиво ест, — говорила моя мама, — по тому сразу видно, что он невоспитанный человек!»

Все Рухишки оказались воспитанные: вилку держали в левой руке, нож в правой, не утыкались носом в свои тарелки с оголодавшим видом, торопливо поглощая свою порцию, не лезли к жующим с расспросами и не навязывали свои угощения, а только спрашивали, что передать с другого конца обширного стола.

Главным блюдом был иранский плов с курицей и сухофруктами. Не знаю, как это им удалось, но огромная гора плова оказалась завернутой в лаваш. Его так и подали — в виде огромного хлебного шара, а развернули уже на блюде и порезали на куски, как пирог. Ближе к лавашу шафрановый рис с курагой запекся в сладкую корочку, вкуснее которой я в жизни ничего не ела.

Пока мы кушали, видео показывало нам на большом телевизоре концерт турецкой певицы Ажды Пеккан. Через песню турчанка появлялась в новом обтягивающем платье — то в золотом, то в серебряном. В каждом наряде плечи и спина у нее оставались совершенно голыми, и я задавалась вопросом, как платье вообще на ней держится?!

Каждый ее выход хаджи Рухи качал головой и приговаривал:

— Какая красивая женщина! И поет, как соловей!

Скажи это мой папа, моя бы мама точно заметила, что петь и плясать — не мешки ворочать, и наверняка у этой Ажды заботливый муж, который взял на себя все хлопоты по хозяйству, не то что некоторые…

Но Марьям-ханум только улыбалась и интересовалась главным образом мной. А вот Ромина прокомментировала:

— А вот вы бы, хаджи, вместо того чтобы женщин разглядывать, лучше бы кушали, а то вам завтра рано вставать и весь день нас возить.

Все за столом засмеялись.

Я подумала, что если бы такое заявила в 12 лет советская девочка своему советскому папе, то вышел бы конфуз. В семье Рухи не было привычного мне общения, когда старшие указывают младшим и без конца одергивают их из серии: «Не перебивай!», «Сядь прямо!», «Кушай, а не отвлекайся!» и отпускают прочие замечания, призванные показать, что твое мнение тут никому не важно. Твое дело сидеть прямо, красиво кушать и не возникать. При этом мои подружки и их брат, не дожидаясь отдельных просьб, помогали матери и отцу. Такое впечатление, что здесь были не хозяева дома и их дети, а пятеро хозяев этой просторной красивой квартиры, двое больших и трое поменьше.

Пока все доедали плов, брат Рои и Ромины раскочегарил самовар — пузатый и блестящий, как в тульском краеведческом музее. Я вслух предположила, что русский самовар Рухишкам подарил кто-то из нашего госпиталя.

Все присутствующие очень удивились, услышав, что я считаю самовар русским изобретением. Выяснилось, что персы пьют чай из самовара с самых древних времен и русские могли только позаимствовать у них эту привычку. Спорить я не стала, решив сначала уточнить у папы, кто же изобрел самовар первым — мы или персы?

Чай разлили в пиалушки, к нему подали свежие пирожные из соседней армянской кондитерской при церкви, туда ходил весь наш квартал. Еще фисташки, фрукты, мою любимую кукурузу в карамели.

— О, пуль фарда! — обрадовалась я, увидев знакомое лакомство из магазинчика Рухи.

Хамид закрыл лицо руками, шутливо показывая, как ему стыдно, что он тогда меня сдал. Я ответила в полном соответствии со втыком, полученным тогда от родителей: что я ему благодарна, потому что и сладостей поела, и поняла, что дело не в том, что кому-то их жалко — господину Рухи, Хамиду или моему папе, — а в том, что я поставила в неловкое положение сразу троих людей. И уж тем более себя, потому что действовала при помощи лжи.

Услышав такую тираду, хаджи Рухи приложил правую руку к левой груди, где сердце (этот жест у иранцев значит что-то вроде «от души»), и

заявил, что рассуждаю я с мудростью, достойной Саади, и не зря во мне наполовину восточная кровь.

Ходжи предложил мне освоить еще одну удобную фразу на фарси — «Иншалла фарда!». В буквальном смысле она означает: «Бог даст, завтра!» А в переносном — это вежливая форма отказа, если вас просят сделать нечто, чего делать вы не собираетесь. Но и просителя обижать не хотите.

Я даже сразу представила, в каких случаях эта фраза может оказаться мне полезной. К примеру, мама задает мне свой фирменный риторический вопрос: «Ты когда-нибудь станешь нормальной девочкой?!» А я ей: «Иншалла фарда!»

После чая к нам прибежали дети семьи, занимающей второй этаж, — одноклассница Ромины со своим младшим братом. Я еще подумала, как это классно — жить с подружкой практически вместе. Еще я решила бы, что это не девочка, а симпатичный мальчик, не успей Ромина рассказать мне, что все девчонки в их классе сделали себе «гарсон» — стрижку под мальчика.

— Жанет! — представилась соседка.

— Ух ты, французское имя! — восхитилась я.

Все присутствующие снова удивились — не меньше, чем тому, что самовар русский.

— Janet — это распространенное в Иране имя, означает «сады Эдема», — пояснил хаджи Рухи так же терпеливо, как и мой папа. — Жанет у нас не просто хорошая девочка, а райские кущи!

Жанет была такая же подвижная и смешливая, как Роя и Ромина. Она щебетала, как птичка, вилась вокруг Марьям-ханум и что-то возбужденно ей рассказывала, показывая на стол.

Младшего братика Жанет звали Икрам, он был примерно моего возраста. Его сразу усадили на диван, включили диснеевский мультик и принесли фисташкового мороженого.

Марьям-ханум кивала, потом погладила Жанет по голове и, видимо, попросила ее перейти на английский, чтобы я тоже понимала, что происходит.

Мне объяснили, что сейчас нам раздадут чадры и железные миски и ложки, с ними мы пойдем по соседним домам на нашей улице. Считается, что в ночь на Чахаршанбе-сури пробуждается Аша Вахишта — святой дух Огня — и посылает своих гонцов по домам. В те дома, где этих гонцов встретят ласково и угостят вкусным, Аша пошлет достаток и счастье. А тем, кто гонцов обидит, творец Огня придумает наказание. «Гонцами Аша Вахишта» в праздничную ночь обычно выступают дети. А поскольку традицию все знают и с духом Огня ссориться никто не хочет, то нам везде будут рады. Хотя сначала и сделают вид, что испугались, так уж положено.

Я вспомнила рождественские колядки в описании Гоголя, потому что в реальности никогда их не наблюдала. А про существование хеллоуина тогда еще не знала.

Марьям-ханум вынесла шесть бело-сиреневых чадры — для своих троих детей, двоих соседских и меня.

Хаджи Рухи предположил, что это ее «девичий гардероб», так как светлые обычно носят незамужние. Всего год назад Марьям-ханум вообще не носила никакую чадру и даже платок, поэтому про «девические чадры» всем было смешно, даже мне.

Маленький Икрамчик первым схватил чадру и сразу же ловко в нее завернулся, будто делал это каждый день. А старший брат Рои и Ромины Хамид заявил, что чадру не наденет и вообще никуда не пойдет. Сказал, что лучше ляжет пораньше спать, ведь завтра у него ответственный день. Он будет сменять отца за рулем, потому что у нас дальняя и обширная программа. Нас тоже разбудят рано, и на нашем месте он бы не гулял до рассвета.

На это хаджи Рухи заявил, что Хамид стал таким ответственным лишь потому, что по соседству нет девчонок, которые ему бы нравились:

— А живи тут рядом Лейла, он бы побежал к ней в чадре, стуча в кастрюлю, как миленький!

Все захохотали, а Хамид покраснел. Видно, ему и впрямь нравилась какая-то Лейла.

А мне ужасно нравилось, что в семье Рухишек все общаются на равных, много смеются и взрослые на полном серьезе принимают участие в подготовке нашего похода по соседям, который моя мама назвала бы «безобразием».

Для нас с Икрамчиком покрывала оказались слишком длинными. Я завернулась и попробовала пойти, но споткнулась о подол и чуть не упала.

— Ты зубами придерживай! — подсказала мне Ромина. — А еще говорят, что мы сами просим чадру!

Все опять засмеялись. Персиянки и впрямь вынуждены иногда закусывать чадор зубами, если им нужно что-то сделать руками. Чадра же никак не прикреплена к телу и, если ее не держать, сразу спадает.

Моя мама как-то обратила внимание на прогулку местного семейства по магазинам улицы Моссадык. Жена шла впереди, придерживая чадру унизанной золотыми перстнями рукой, а муж тащил за ней на себе кучу сумок, пакетов и детей.

— А неплохо персиянки устроились! — прокомментировала моя мама. — С этой чадрой никакую сумку не понесешь, разве что кошелек! А наши женщины хоть и без чадры, зато увешаны авоськами так, что за ними половую

принадлежность не разглядишь! Советская хозяйственная сумка лишает женственности похлеще этой тряпки, а еще и изрядно потяжелее!

Роя притащила с кухни три металлические салатницы, две кастрюли и набор половников разной величины. И снова все хохотали, что самый маленький Икрамчик выхватил самый большой половник, а с чадрой он управляется ловчее любой искушенной ханум.

Мне досталась маленькая кастрюлька, в такой моя мама варила «Доктора Квакера», и средней величины половник.

Марьям-ханум давала нам какие-то наставления по-фарси.

— Волнуется, — коротко перевела мне Ромина. — Пошли!

Мы вышли на ночную улицу. Для меня это было захватывающим приключением! До этого я никогда не гуляла по ночным улицам без взрослых — ни в Москве, ни в Тегеране. А уж тем более в чадре. Больше всего я боялась споткнуться о ее подол и свалиться, громыхая своей кастрюлей с половником.

Мы пошли не в сторону Каримхана, где была оживленная магистраль, а свернули в ближайший переулок, ведущий в глубь квартала. Узкая улочка поднималась на север, потому что впереди замаячили глыбы гор, в ночи похожие на жирные кляксы. По обе стороны переулка вплотную стояли белые двухэтажные дома, похожие на дом Рухишек. Если бы меня в тот момент оставили одну, я бы точно запуталась, в каком именно из этих домов я в гостях.

В свете ночных фонарей улочка казалась таинственной. Ни машин, ни пешеходов в такое время внутри жилого квартала не было. Но из окон домов то и дело доносились возбужденные голоса и смех.

— Сюда не пойдем, ну их! — махнула рукой Ромина на первые два дома в ряду.

У входа в третий мы остановились.

— Запоминай, — шепнула мне Ромина, — как только войдем, начинай как можно громче стучать ложкой по кастрюле и подвывать вот так: «Зардийе ман аз то, сорхи-йе то аз ман!»

— Подожди, — испугалась я, — я не запомнила!

— Не беда, — отмахнулась Ромина, — просто повторяй за мной! Так просят духа Огня о всяком приятном — близким здоровья, тебе подарков... Только загадай заранее, чего ты хочешь!

— Парня тоже можно загадать, — вставила Жанет, — если тебе какой-нибудь нравится.

— Все бы тебе парней! — шутливо осадила ее Роя на правах старшего товарища. — Загадай лучше, чтобы тебя отпустили с нами на Каспий на Новруз!

— Никто ее не отпустит! — заявил маленький Икрамчик. Оказывается, он тоже говорил по-английски. До этого он все время молчал, и я подумала, что он просто не понимает, о чем мы говорим.

— А ты стесняйся дальше! — буркнула брату Жанет и на секунду приуныла. Видимо, родители и впрямь ее не отпускали.

— Она не сдала тест по математике за полугодие, — пояснила Роя.

В моей школе тесты были только по инглишу, но я догадалась, что иранские подружки так называют итоговую контрольную.

— А мы всей семьей поедем на берег Каспийского моря, — похвасталась Ромина. — Там у нас дом. Жанет мы бы тоже взяли. И тебя тоже можем взять, — обратилась она ко мне. — Тебя отпустят?

Я вспомнила свою маму и ответила, что вряд ли.

Ромина нажала на кнопку интеркома.

— Бале![*] — отозвался женский голос.

— Зарди-йе ман аз то, сорхи-йе то аз ман! — протрубила Ромина в микрофон утробным голосом, как заправское привидение.

Интерком тут же пискнул, а входная дверь щелкнула.

Ромина потянула за ручку и мы вошли в подъезд. Он, как и в доме Рухи, был не подъездом в московском смысле этого слова, а скорее прихожей. В ней стоял диван и кресла, на полу ковер и кадки с цветами, а дальше еще одна дверь. Из этого входа можно было войти только в апартаменты первого этажа. У жильцов второго этажа был свой вход. Правда, в квартире Рухи была внутренняя лестница на второй этаж, где жила семья Жанет. Ромина мне ее показала и сказала, что они дружат семьями, поэтому этот вход открыт. Но есть и такие соседи, которые вешают на внутренних лестницах друг от друга замок. Сказала это она таким тоном, что я постеснялась рассказать, что в Москве все запираются друг от друга на три замка и часто не знают, как зовут соседей по лестничной клетке.

Ромина приложила палец ко рту и, словно дирижер, жестами показала, чтобы мы построились гуськом друг за другом и приготовили свои кастрюли. И одновременно ударили в них, когда она откроет внутреннюю дверь.

Едва Ромина коснулась дверной ручки, как мы разом грохнули по своим кастрюлям и послушным зычным хором свое прошение к духу Огня.

Из-за двери показалась какая-то ханум в длинном шелковом халате и тюрбане на голове, всплеснула руками, закрыла лицо, будто от ужаса, и убежала куда-то в глубь квартиры.

[*] «Да!» — *(перс.)*

За ней выскочил какой-то господин, увидев нас, запричитал: «О, Аллах, Аллах!» — и тоже убежал. Потом один за другим выбежали разные дети, большие и маленькие, они показывали на нас пальцами и что-то кричали на фарси.

В какой-то момент мне показалось, что, несмотря на заверения семьи Рухи, эти люди не в курсе традиции про пришествие гонцов духа Огня, испугались всерьез и сейчас вызовут полицию.

Но тут снова появилась ханум в шелковом халате с пятью пакетами в руках. Когда она успела их собрать, одному Аллаху известно, но каждый был полон угощений.

С первого взгляда мне показалось, что там только сладости и фрукты, но дома выяснилось, что там еще и «цепляющиеся» игрушки — несбыточная мечта каждого советского ребенка того времени. Куклы и игрушечные животные, которых при помощи приделанных к ним липучек можно было прицеплять к мягкой мебели, занавескам и даже к спине другого человека. Мне досталась липучая длинноногая Линда из породы Барби в розовом купальнике и длинная плюшевая собака, похожая на желтую сосиску с коричневыми ушами.

После вручения подарков ханум, ее муж и их дети перестали нас бояться, расцеловали всех пятерых и стали что-то оживленно говорить на фарси, хватая Рою и Ромину за руки.

Мои подружки по очереди твердили «Хейли мамнун!», прикладывая правую руку к левой груди, и мотали головой. Я знала это выражение, его часто употреблял мой папа, и я запомнила, что оно значит «Очень вам признателен!». А если к нему прибавить «Бебахшид!»[*] оно значит вежливый отказ. И когда мои подружки произнесли и это слово, я поняла, что нас всячески приглашают в дом, а мы вежливо, но упрямо отказываемся.

Наконец мы снова вышли на улицу.

— Если к Зухра-ханум зайти, то она будет угощать до утра, больше никуда не попадем! А у нас еще два дома в плане, — пояснила Роя.

— У Зухры-ханум всегда вкусное мороженое, она сама его делает в специальной мороженице! — вспомнила Жанет и причмокнула.

— Не напоминай мне про мороженое! — взмолилась Ромина. — А то я сейчас вернусь к ней, и мы больше никуда не пойдем!

— Дальше будет еще вкуснее! — важно заявил Икрамчик.

Мне было ужасно весело в их компании! Ничего подобного раньше я не делала и не видела.

[*] «Извините!» — *(перс.)*

Потом мы зашли на второй этаж того же дома. Нам тоже сразу открыли, сделали вид, что испугались, когда мы забарабанили в свои кастрюли, но тут Роя с Роминой дали знак, что заходим. Там была большая семья, но у меня в голове уже все настолько смешалось, что я не запомнила, как кого зовут. В большом зале горел камин, и все домочадцы сидели вокруг него и любовались пламенем.

Нас усадили туда же, хозяйка принесла кучу угощений, а потом тоже пакеты с подарками каждому из нас. Тут говорили по-английски только дети. Симпатичный мальчик лет 13 перевел мне, что говорит его отец:

— Раньше в эту ночь костры жгли на улице до самого утра, мужчины прыгали через них, а девушки водили хороводы. Но теперь это нельзя. Но на живой огонь все равно надо смотреть на Чахаршанбе-сури, он приносит счастье! — И хозяин дома указал на красивые языки пламени в камине.

— У нас тоже есть похожий обычай, только летом, в ночь на Ивана Купалу, — важно поддержала я обмен культурными ценностями.

Про Ивана Купалу я тоже вычитала, кажется, у Гоголя.

В третьем доме все повторилось — притворный испуг, угощения, подарки.

Опытная Ромина надела на себя под чадру школьный рюкзак, иначе бы мы не смогли утащить все мешки со своими подарками.

В четвертом доме мои глаза уже слипались от усталости, избытка впечатлений и необходимости говорить и понимать на английском.

Мои подружки, кажется, это заметили. Во всяком случае, меня перестали дергать бесконечными рассказами, усадили в кресло перед очередным столиком с угощениями и на какое-то время оставили в покое.

В этом доме были две дочки постарше Рои и Ромины. На вид им было лет 17–18, обе показались мне очень красивыми. Я поняла, что здесь живут какие-то родственники семьи Жанет и Икрама.

Маленький Икрамчик только в этих гостях перестал быть серьезным и даже позволил ханум, которая тут хозяйничала, взять себя на руки и потискать.

Тем временем сестры, у которых мы гостили, Роя, Ромина и Жанет почему-то стали высовываться в окно и к чему-то прислушиваться. Каждый раз, вывесившись в окно по пояс, они на секунду замолкали, а потом раздавался взрыв хохота.

Я вспомнила, что аналогичный смех я слышала из разных окон, пока мы шли по улице. Видно, не только мои подружки так делали.

Ханум-хозяйка, отпустив Икрамчика, тоже вдруг вылезла в окно и через секунду громко расхохоталась.

— Эй, мама, у тебя уже есть муж! — крикнул ей по-английски хозяин дома.

Мне стало любопытно.

— Что там такое смешное происходит на улице? — спросила я Икрамчика.

Вместо него ответила возвратившаяся от окна хохочущая ханум:

— Это старинный обычай «фаль-гуши»: загадываешь желание и подслушиваешь, о чем говорят соседи. Первое, что услышишь, это ответ на твой вопрос. На нашей крыше сейчас парни собрались, гостят у соседского сына и девушек громко обсуждают, все слышно, поэтому и смешно. Я спросила, будут ли у меня деньги в этом году? А сверху донеслось: «Нет, она слишком толстая!»

Прибежала разрумянившаяся от смеха Ромина и сообщила, что на ее вопрос, какой у нее будет муж, «дух Огня» в лице мальчишек сверху ответил: «Этот Хоссейн такой жадный, что даже кошка ушла от него к соседям».

Зато хозяйские дочки таинственно сообщили, что им сверху пришел хороший знак. Обеих в новом году ждет большая любовь. Но пояснить, что именно в мужском разговоре на крыше навело их на такую мысль, отказались.

Последней от окна вернулась Жанет. Вид у нее был обескураженный.

— Три раза спросила дух Огня, как мне сдать тест по математике! И три раза мне ответили, что какая-то Бехназ обязательно поцелует какого-то Бехруза!

— А как зовут твоего учителя по математике? — осведомился маленький Икрамчик. — Случайно не Бехруз?

— Но я же все равно не Бехназ! — резонно возразила брату Жанет.

— В общем, ты сдашь математику, если Бехназ поцелует Бехруза, — заключила Роя. — Найди двоих с такими именами и заставь их целоваться, чтобы тебя отпустили с нами на Каспий!

Я уже устала смеяться!

На прощанье нам снова выдали мешки с подарками.

К дому Рухи мы явились часа в три ночи. С Жанет и Икрамчиком расцеловались возле их входа.

Марьям-ханум ждала нас в зале, господин Рухи и Хамид уже отдыхали.

Мама подружек расцеловала каждую из нас и сказала, что уже постелила мне в комнате Ромины. На постели меня ждала красивая ночнушка, похожая на «платье», которое мы с мамой купили в «Куроше».

Когда мы с Роминой переоделись, Роя и Марьям-ханум зашли к нам пожелать спокойной ночи. Мама Ромины принесла нам уютный глиняный кувшинчик и сказала, что в нем айран, если ночью нам захочется пить. А Роя вручила мне новую зубную щетку в красивой упаковке. Она была до того красивая, что я подумала: интересно, а можно ли будет забрать ее с собой?! Но спросить постеснялась.

Я умылась и приготовилась вырубиться, чувствуя, что впечатления меня переполняют и надо их «переварить», разложить по полочкам. А это утром, потому что сейчас уже нет сил.

Только я улеглась, как Ромина прошептала:

— Подожди спать! У нас еще есть дело в эту ночь! Надо только дождаться, пока все уснут!

Любопытство заставило меня разлепить веки. По знаку Ромины мы минут 15 полежали в полной тишине, потом она встала, приоткрыла дверь в коридор и прислушалась!

— Спят! — удостоверилась подружка и достала откуда-то из-под кровати запасенную кастрюлю, в которую стучала, пока мы ходили по гостям.

— Это зачем? — удивилась я.

— Увидишь! — загадочно отозвалась Ромина.

Она перелила в кастрюлю айран из принесенного ее мамой кувшина, ополоснула его под раковиной и жестом пригласила меня к окну, выходящему на задний двор. Там, на маленькой забетонированной площадке торчал гигантский радиатор кондиционера, из которого тихо капала вода. В то время такие в Тегеране были повсюду и мне они очень нравились. Если под него засыпать, кажется, что на улице идет дождь. Дождей в Тегеране почти не было, и, в отличие от зимы и снега, по дождичкам я немного скучала.

Ромина схватила кувшин, размахнулась и с силой швырнула его на бетонную площадку. Раздался треск, это кувшин разлетелся вдребезги.

— Что ты делаешь??? — ужаснулась я. — Тебе же попадет!

— Попадет! — удовлетворенно улыбнулась подружка. — Но это будет завтра. А сейчас дело сделано!

Она сообщила мне, что специально выпросила у мамы на ночь айран, зная, что она нальет его в глиняный кувшин, так положено. И припрятала кастрюльку, потому кувшин нужен для «кузе-шекани». Это примета такая на Чахаршанбе-сури. Если в ночь на последний четверг старого года выбросить в окно старый кувшин, в новом году в дом придет богатство.

— Утром мама, конечно, будет ругаться, — серьезно пояснила подружка, — но когда придет богатство, еще спасибо мне скажет! Подумаешь, кувшин!

«Какое ей еще богатство?! — думала я, засыпая. — У нее и так все есть, даже собственная ванная!»

Наутро Роя разбудила нас в семь и сказала, что ничего, выспимся в новогодние каникулы.

Мне очень хотелось спать, и я чуть не сказала, что у меня-то на Новруз нет никаких новогодних каникул! Но потом вспомнила, что у меня и школы-то нет!

Стол был уже накрыт к завтраку: омлет с сабзи, тосты с моим любимым плавленым сыром панир-хомэи, похожим на очень густые сливки, и чай со свежими ширини, уже принесенными Хамидом из армянской пекарни.

За столом Марьям-ханум качала головой и что-то тихонько втолковывала Ромине на фарси. В ответ Ромина только улыбалась и разводила руками — мол, ну что теперь поделаешь?! Я догадалась, что мама отчитывает ее за кувшин.

И я снова подумала, какие все же славные эти Рухи! Если бы я нарочно разбила дома кувшин, моя мама ругалась бы куда громче. И едва ли я могла бы беспечно улыбаться, как Ромина, выслушивая то, что она обо мне думает.

Хаджи Рухи объявил, что на сегодня у нас большие планы. Сначала мы поедем в загородный клуб кататься на лошадях.

— Ты ездишь верхом? — спросил меня Хамид.

Для меня это прозвучало как в кино про жизнь аристократов: «Кстати, вы играете в теннис?»

Мое знакомство с лошадьми на тот момент сводилось к тому, что однажды, гуляя со мной по парку Сокольники, папа завел меня на территорию спортивного общества «Урожай», где мы немного поглазели на занимающихся в манеже всадников. Запомнился острый конский запах, щелчки хлыста и резкость тренера, которая уже ассоциировалась у меня с любым «большим» спортом. Если тренер не кричит и не ругается, значит, это не серьезные занятия, а так — группа здоровья. На «Урожае» все было серьезно. Хотя бы потому, что нас с папой вскоре выгнали, сказав, что посторонним на тренировки нельзя. А если мы желаем сами скакать, то по воскресеньям с утра работают группы проката для «чайников».

Вспомнив все это, на вопрос Хамида я просто отрицательно помотала головой.

— Наши лошадки — полностью заслуга Хамида! — сказал хаджи. — Он их навещает и выгуливает. Благодаря ему, они ухоженные красавицы.

При этих словах отца Хамид заметно приосанился. Уход за лошадьми явно был его гордостью. Наверное, он ходит в секцию верховой езды. На «Урожае» нам с папой тоже объяснили, что, помимо непосредственно катания, каждый всадник должен уметь ухаживать за лошадью — почистить, оседлать, покормить. Правда, я не поняла, при чем тут хаджи Рухи и почему он говорит про лошадей «наши»? От любопытства я даже напряглась и вспомнила, как будет по-английски «оседлать».

— А-а-а, он их чистит, кормит и седлает? — догадалась я.

— Да, он все это умеет, — не без гордости признал господин Рухи. — Но, конечно, каждый день это делает конюх, шорник и берейтор, потому что Хамид учится и помогает мне в магазине.

Хамид снова приосанился.

— Но сын каждую неделю навещает наших любимиц, — продолжил отец семейства, — проверяет, все ли нормально, и забирает каждую на длительную прогулку в поля, чтобы они побегали на воле. Все выходные там проводит! — добавил хаджи, глядя на сына с одобрением.

Марьям-ханум тоже закивала головой в знак восхищения сыном. Хамид весь сиял.

— С тех пор как наш папочка сделал эту покупку, — вставила Роя не без ехидства, — вся семья имеет по ней обязанности, а не только Хамид! Мы с Роминой тоже ездим их выгуливать! А я еще их и чищу!

— Два раза чистила за все время! — уточнил Хамид.

Ромина, накануне бывшая заводилой, с утра притихла. Наверное, не выспалась. За завтраком она, не стесняясь, клевала носом. Обычно бойкая на язык, тут она включилась только на Хамидовы «два раза». Она приоткрыла один глаз и заявила:

— Неправда! Мы с Роей все прошлые каникулы там проторчали! И почти всегда ездим с Хамидом!

— Все молодцы, — примирительно молвил их отец, — все помогают родителям с лошадьми.

Марьям-ханум снова одобрительно закивала.

А я окончательно зашла в тупик. Что это за лошади такие, с которыми надо «помогать родителям»?!

Я решила не стесняться и задать вопрос прямо. А то мы к этим лошадкам едем, вдруг я тоже должна буду с ними «помогать»? А я не умею, и надо об этом предупредить! Может, после этого Рухишки расхотят брать меня с собой? Хотя к лошадкам мне очень хотелось. Но я была честной девочкой, поэтому грустно сообщила:

— А я не умею ни чистить, ни седлать, ни кормить! Теперь вы не возьмете меня с собой?

Все захохотали. И даже Марьям-ханум — еще до того, как ей перевели мои слова. Я заметила, что Марьям-ханум, хотя сама и не говорит по-английски, но почти все понимает и без перевода. То ли она все-таки знает язык, просто не хочет говорить, то ли дело и вовсе не в языке, а в ее природной чуткости и в искреннем интересе к беседам своих детей со мной. Я тоже ловила себя на том, что порой понимаю, о чем идет речь на фарси, хоть и не знаю языка.

Посмеявшись, хаджи Рухи сказал, что я могу не волноваться, меня всему обучат.

Ромина снова приоткрыла глаз, видно, решив меня успокоить:

— Вы мне сейчас запугаете подружку! Папа два года назад приобрел шесть лошадей, — пояснила она мне. — Они стоят на конюшнях в Душан-Таппе, куда мы сейчас поедем. Папочка наш оплачивает их полное обслуживание, так что, на самом деле, никто ничего не должен. Просто нам нравится ездить кататься, а заодно мы все научились ухаживать. Это же интересно! И в Душан-Таппе красиво!

— Там шах Насреддин любил охотиться! — подтвердил хаджи Рухи.

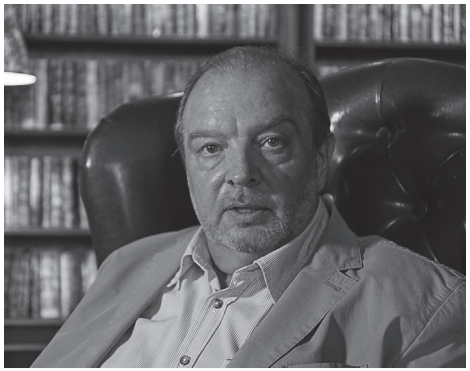
— Это тот, у которого 84 жены в балетных пачках? — уточнила я, вспомнив папины рассказы.

Все снова засмеялись и признали, что да, это тот самый шах, он очень любил все красивое, а женщин и лошадей — особенно.

Пока мы допивали чай, Роя и Ромина собрали сумки. Я помогла им уложить их в багажник большой семейной «мазды». У семейства Рухи было две машины, обе стояли в гараже под домом. Фургончик «мазда», как объяснила мне Ромина, используется для загородных прогулок, на нем же они скоро всей семьей поедут на Каспий. В остальное время на нем ездит Хамид по хозяйственным поручением отца. На элегантном длинном «додже» ездит по делам хаджи Рухи, а когда Роя с Роминой учились далеко от дома, на нем Марьям-ханум возила их в школу.

Все это было для меня удивительным: и лошади, которых можно «купить», и машины, которые могут водить 15-летние мальчики и их мамы. На родине я видела только одну тетю, которая водила жигули. Это была мамина подружка юности родом из Баку, работавшая в Москве. Но эта тетя Лала и во всем остальном была необычным человеком: она работала хирургом и писала научные работы. Моя мама говорила, что Лалочка такая умная, что иногда даже страшно. Ни у одной моей подружки мама не водила машину, даже шикарная Катькина тетя Нина-актриса. А про 15-летних мальчиков я и вовсе молчу. Права в Союзе выдавались только с 18 лет.

Я попала в совсем иную жизнь. Но ценности в ней были мне привычными. А вовсе не такими, как нравы «лунных капиталистов», которые описал в «Незнайке на Луне» детский писатель Носов.



«фотография Александра Нефёдова»

АНДРЕЙ БИНЕВ

РУССКИЙ САЛАТ

(отрывок из неоконченной повести)

Самое трудное в воспоминаниях — не выдавать желаемое за действительное. Не называть родного подполковника полковником, а полковника генералом, не додумывать за кого-то те мысли, которые не могли прийти ему в голову, потому что у них не было туда пути, не лгать самому себе, уступая капризной и стыдливой природе самой жизни. А еще чрезвычайно трудно придерживаться календарной последовательности событий. Всё опускается на тебя, как десант с неба. Не сопротивляйся, а то от твоих засохших песочных замков останутся одни руины.

Я точно не помню, когда это было. Году, наверное, в 94-м, в июне или, быть может, в мае. Я опять прилетел к отцу в Софию, оторвавшись от своего московского, разбитого мною же самим, домашнего корыта. Думал, останусь у отца надолго. Не остался. Но этот приезд запомнил. За свой счет устроился в газетные собкоры болтливой, философствующей, снобистской газеты, название которой не хочу даже вспоминать. Я всё шутил на летучках в Москве, что количество читателей в ней равно количеству писателей. Главному, мудрому, сипловатому старцу с глазами юного шалопая и с благородной седой шевелюрой это, по-моему, даже нравилось. А за «свой счет» — означало, что как потопаешь, так и полопаешь. Топал плохо, также и лопал, поэтому приезд к отцу в его обширную одинокую квартиру в центре Софии оказался опять чрезвычайно коротким.

Вот тут важно представлять, что это за место такое было и что за улица. Называлась она, да и по сию пору называется, Царь Симеон и прославлена тем, что считается самой длинной и узкой улицей столицы, рассекающей её на две неравные части: на престижную, стыдливо буржуазную, и на ветхую,

нищую, еврейско-арабскую и русско-белоэмигрантскую. Дальше там, к вокзалу уже ближе, и цыгане, и угрюмые работяги жили, да и поныне живут, а рядом с их убогими хижинами раскинулись старое и новое кладбища. Но в центральной части все же всегда были евреи, турки, русские эмигранты и даже арабы. Еще и мелкие ремесленники, они же толстопузые, неряшливые буржуа — традиционные для нищей Болгарии карикатурные скупердяи, из самых-самых низов приподнявшиеся. Этакие простаки с лукавыми повадками городских грызунов.

Улочка, застроенная покосившимися, когда-то кичливыми, каменными низкорослыми домами с крошечными пыльными двориками, рассекала и городской рынок, совсем недалеко от папиного дома. Там творились какие-то делишки, как и должно быть на восточных базарах. Говорят, когда-то здесь белоэмигранты чем-то нехорошим приторговывали — не то своими женщинами, не то чужими, не то золотишком и камешками, вывезенными из Советской России, не то даже оружием. Бывало, что и кокаином или еще какой-то дрянью вроде него. Тут в нищих темных лавчонках можно было купить именную шашку с причудливой резьбой по ржавому клинку, редкой работы тонкую графскую брошь с обломанной почерневшей иглой, иконостас облезлых георгиевских крестов, старый револьвер, русского флота кортик, эполеты, потускневшие шпоры на гнилых черных ремешках, дамскую шляпку с жалким плюмажем и дырявой сеткой, облезлую чернобурку, потертые офицерские лайковые перчатки, кавалерийские панталоны с лампасами и с замасленными подтяжками, фуражку или даже генеральскую папаху со следом от кокарды, золотые погоны с печальным двуглавым орлом или с исколотым просветом, серый форменный френч с разнобойными пуговицами, столовые приборы, видавшие голод и позор, неполный искусный чайный сервиз с хозяйским вензелем и еще всякую, всякую мелочь.

В базарных помойках, начиная с девяностых годов, копались городские сумасшедшие, похожие на шутов из балаганных театров, и жалкие нищие старики, да бойкие оборванные цыганята. На стариках, на костлявых их плечах, на тонких шеях висела обветшалая одежонка, оставшаяся еще с сытых времен «народной демократии», а озлобленные слезящиеся глаза мрачно сияли искрами классовой ненависти и неотомщенных бессильных обид.

Но всему этому на болгарских рынках, которым вполне хватает своей традиционной продукции, долго все же не удержаться. Так что всё это вязкие городские сказки — жирные, с подленьким, вообще-то, запашком. Там ведь еще и цыгане во все ввинчивались, и турки, и евреи, и какие-то заезжие греки или македонцы, албанцы и еще кто-то, кого принимали то за одних, то за других. Болгар же представляли скромные, негромкие торговцы и торговки

со своими щедрыми фруктово-овощными и мясными рядами, с банничными пекарнями и дымными скарами, на которых томились кебапчета, кюфтета, колбаски-карначета и жирные найденицы, свиные отбивные, называемые здесь паржолами. В сладкарницах, малюсеньких уютных кондитерских, подавали горький турецкий кофе, оранжаду, бисквитные пирожные под сахарным сиропом — «реване», орехи, баклаву и густой сладкий напиток бузу.

А еще на базаре всегда в избытке было сухое домашнее вино в дубовых бочонках и в бутылках с блеклыми этикетками. Вино пробовали на вкус, закатывая глаза и причмокивая капризными губами. Потом либо презрительно махали рукой и, ворча, уходили к следующему виноделу, либо с восхищением кивали и брали столько, сколько могли утащить на себе. Были признанные виноделы, как и мастера варки брынзы, набивания колбас, жарки на скаре кибабчет и кюфтет, пекари и кондитеры. Их искренне уважали и потому к именам добавляли приставку «бай». Бай Пешо, бай Любо, бай Гошо… Никому их фамилии были не известны. Тут мастеров кухни узнавали только по именам. Повар всегда был человеком почтенным, а его руки считались чистыми и искусными.

Отдельным цехом прижились бирарни, в которых к нескольким сортам пенистого светлого пива подавались те же жареные колбаски, хорошо запеченное на углях в раскаленных скарах мясо, вареные бобы, картофельные и помидорные салаты. А еще подавались караваи горячего белого хлеба, от духа которого шла кругом голова. Его общипывали в нетерпеливом ожидании заказа и окунали в большие солонки с солью, смешанной с травами, которыми благоухала вся болгарская кухня.

Всё остальное лишь мелькало вокруг, добавляло жалких видов и несвежих запахов. Появлялось и исчезало вместе с поколениями пришельцев. Чужие люди тут менялись быстро.

От старой белой эмиграции в год моего приезда к отцу остались уже одни гнилые рожки да подагрические ножки. Эмигранты, как известно, оставляют на стенах чужих городов следы наподобие масляных пятен — никто не помнит, кто пролил масло, но его темные пятна уже не закрасить.

Папа смотрел на меня недоверчиво. Ему не нравился избранный мною путь. Как, собственно, и мне самому. Но старались не говорить об этом.

— Пошли, — сказал отец, как только я кинул исцарапанный в десятках смрадных аэропортов и вокзалов чемодан на диван, — тут рядом.

Я догадывался куда. Он обычно коротал там свое вечернее одиночество под звуки городских шлягеров, которые рвались в прокопченный табачным дымом и духом кухни зал из хриплых глоток полногрудых стареющих певиц, из-под длинных узловатых пальцев седых тапёров с перхотью на плечах потертых

фраков, из залатанных-перелатанных мехов старых австрийских аккордеонов «Alpengold» и надорванных скрипок молчаливых ресторанных пильщиков.

«Гамбринус» — называлась эта почти вековая харчевня. Большой прямоугольный зал с нависшей над ней деревянной галерейной верандой и с узкими бойницами окошек, забранных тусклыми витражами. Балясины на узкой лестнице и в ограждении верхнего ресторанного этажа были плохо покрашены, неустойчивы, капризны и мстительны каждому, кто легкомысленно обопрется на столь же облезлые перильца над ними. Папа рассказывал, что однажды одна такая балясина, зло ответившая толстяку, облокотившемуся о перила на веранде, копьем ударила в огромное блюдо с сочным помидорным салатом на столике в зале и оставила масляные следы на одеждах доброй четверти клиентов. Брызнуло, как от взрыва, а толстяк еле устоял на веранде. Представляю, что было бы, догони он балясину. Думаю, одним блюдом и столом дело бы не обошлось. Это был бы уже взрыв наподобие водородной бомбы. Я смеялся, слушая рассказ отца, а он смотрел на меня в этот момент с осуждением, потому что никогда не видел ничего смешного в дурацких падениях даже в эксцентричных комедиях.

По залу сновали молчаливые, худощавые официанты в видавших виды черных смокингах с блеском не в тех местах, которые задумывались когда-то портными, с огрызком карандаша за ухом и в несвежих передниках под смокингом, почти до пола. Здесь их всегда называли на немецкий манер — кельнерами. Пожалуй, это точнее, потому что ближе к ощущению профессии. Это слово благоухает пивом и шнапсом, а в Болгарии — к пиву еще и ракией и анисовой «мастикой», грубоватым аналогом греческого Узу или марсельского Пастиса. А от французского слова «официант» несет дешевым одеколоном и потом, а еще лицемерным лакейством и недобрым ловкачеством. Мне так до сих пор кажется. Думаю, грех это, потому что обижаю тяжелую профессию, искалечившую не одно поколение расторопных людей с их несбывшимися надеждами на то, чтобы самим пьяно повелевать толпой лакеев, а не быть ими.

— Вот, — произнёс отец таким царственным тоном, словно все это принадлежало ему.

Один из кельнеров, темноглазый, мелкий, сухой, с продольными лицевыми морщинами, чисто выбритый, сам без возраста, сурово, как мне показалось, кивнул отцу и скосил строгий взгляд на свободный столик у пыльного окошка, подслеповато зыревшего на узкую улочку. «Катарактовое» окно, как и все витрины «Гамбринуса», глядело безрадостно, с затаенной грустью о том далеком времени, когда оно отражало бойкую жизнь и внутри себя, и на булыжной мостовой с узкими тротуарами.

Однажды офтальмолог, милая, смущающаяся женщина, сказала мне после того, как заглянула в мои глаза, что катаракта — это просто старость, и ничего более. Старость, быть может, еще и не пришла по-настоящему, но глаза уже залила своим прокисшим молоком. С «Гамбринусом» происходило почти то же самое, с той лишь разницей, что он-то уже давно выглядел глубоким, жалко молодящимся стариком.

— Вот, — веско повторил папа, когда мы расселись на скрипучих венских стульях.

Я смущенно кивнул и оглянулся. Еще ребенком я несколько раз бывал здесь с отцом и с сестрой, но мама постоянно возражала — слишком много табачного дыма, одиноких софиянок позднеосеннего возраста, блудливого вороха подозрительных шумов и источающего хмельной кабацкий дух пива в высоченных стаканах с бесстыдным раструбом. Недетские радости, словом. Но зато мужские, одинокие. Изоляционные, как она говорила. Или это я думал потом, что она так говорила? Слово, вообще-то, не ее. Но откуда-то ведь я его слышал, когда говорили о соседнем с нашим домом «Гамбринусе»!

Папа, когда был выборным председателем домового комитета, с болью для алчных сердец жильцов вырвал из их общей кассы деньги и нанял художника, который написал на облезлой стене, разграничивающей наш дом с рестораном, огромный, кипящий пеной, стакан с раструбом, на котором и было начертано вкось — «Гамбринус». Папа был убежден, что это украшает и дом, и улочку в этой её части, и вообще справедливо по отношению к самому ресторану. Он не понимал, что это, по существу, бесплатная для ресторана реклама, прикрывающая, на его искренний взгляд, облупленное уродство высоченной слепой стены. А вот жильцы, похоже, подозревали, что он тут нагрел руки. Но я слишком хорошо знал характер отца и его жалкую недалекость в таких делах, чтобы согласиться даже в самой малой степени с этими подозрениями.

На этот раз я видел этот старый кабак совсем иначе, чем в детстве. Крошечная сценка, скорее, подиум, с потрясающе маленьким местом для обшарпанного немецкого пианино со столь же обшарпанным тапёром, со стариком-скрипачом, с аккордеонистом, похожим на оживший пивной бочонок, с молодым ударником (извечная презрительная усмешка под тонкими смоляными усиками), и наконец, с полной, пожившей уже, певицей в шуршащем платье с таким же наглым раструбом внизу, как в пивных стаканах — словно чашу неровно покрасили темной краской и перевернули вверх дном. Непонятно, как они все там размещались!

Зал был загружен на треть. На огромных, круглых белых часах под пыльным потолком всего семь вечера, а это ведь еще не срок для него. Он тихо

гудел и позвякивал фаянсовой посудой (ее, правда, тщились тут выдавать за фарфор), в воздухе висел неистребимый дымок и возбуждающие голод острые запахи из кухни слева от подиума — в самой темной части навеса веранды. Оттуда, из-за тяжелой грязно-бордовой занавеси, вылетали кельнеры с тяжелыми подносами на упругих растопыренных пальцах одной руки, на уровне плеча, а если было нужно, то и над головой. Они совали головы за занавес, забрасывали на кухню скороговоркой заказы, а потом залетали за ними, споро перебирая голенастыми натруженными ногами. Все были худы, потому что не набегаешься тут с лишним весом, да и снесешь что-нибудь или кого-нибудь. Женщина среди них была только одна — средних лет аппетитная шатенка с неприступным выражением лица истинной столичной штучки, но не этих лет, а начала века. Папа на нее поглядывал с симпатией, горячей, чем положено обычному клиенту, по-моему. Я заметил, что и она разок-другой стрельнула в него глазами и даже, кажется, уголки ее ярко накрашенных губ слишком уж приветливо дрогнули. Отец перехватил мой взгляд, и легкая стыдливая краска тронула его глянцевую лысину и чуть синеватые от сосудов впалые виски.

Подскочил тот же кельнер с огрызком карандаша за ухом, морщинистый, как сухое яблочко, деловитый, неулыбчивый. Смахнул свежей салфеткой крошки с крахмальной скатерти и зачем-то быстро, ловко, как базарный катала, переставил солонки с пахучей солью, чабрецом, с перцем и металлическую, потемневшую от времен и рук, подставку с маленькими рефренными графинчиками бледно-янтарного растительного масла и темно-красного винного уксуса. Не хватало только бойкого шарика, который бы летал под ними, как под перевернутыми рюмками базарного ловкача.

— Мой сын русский, — вдруг как-то очень уж хвастливо сказал отец, потом поправился: — То есть из России…

Папа смущенно покосился на меня, виновато усмехнулся и добавил очень тихо:

— Здесь уважают Россию. Понимаешь?

Я не был русским до той конечной степени, чтобы быть так представленным. Я наполовину болгарин, а на вторую и сам точно не знаю кто. Поэтому тут же сказал по-болгарски, стараясь не выдать себя размягченным акцентом:

— Я по большей части болгарин. Папа преувеличивает.

Получалось, что быть русским — это много, а болгарином — мало, ровно на одну половину. Глупо вышло. Кажется, кельнер с огрызком карандаша за ухом это понял и даже подернул уголком губ. Кельнеры вообще в психологии доки. Не пишут диссертаций, но профессора в своем деле. Они точно

знают, у кого гроши в кармане, а кто не заметит любой траты, как серой птахи за пыльным оконцем. Чувствуют и тех, кто пришел сюда исповедовать водкой свою душу, а кто и сам не прочь исповедать случайного пропойцу. Ведь всегда есть тот, кому хуже. От этого тебе самому делается легче. Погляди на беднягу с тяжким чемоданом, обрывающим руку от самой шеи, и не ропщи на свою поклажу. Кельнеры презирают тех, кто, грозя фальшивым самодовольным взглядом расплатиться по любому счету, надуваются и важничают, а потом спьяну мелко лебезят перед ними, потому что на самом деле привыкли кланяться горделивым слугам, как другие хозяевам. Казалось, такие должны тешить услужливую душу лакея, но все, как правило, случается наоборот. Раб всегда более всех презирает раба. Не ценит ни тела его, ни души. Рабство — это не кандалы на запястьях и щиколотках, а душная маска истинного смерда на грошовой душонке. Случается, что лакеи, в этом смысле, свободнее своих же хозяев, которые ценят людей по тому, что именно звенит у тех — кандалы или зубы от страха.

Может быть, это слишком сложно для того вечера в «Гамбринусе», но потом, вспоминая всё это, каждую деталь, я всё глубже погружался в понимание зависимости человека от времени, обстоятельств и окружения. Мы ведь — это то, что носим в себе, а если повезет — то, что оставляем после себя, и то, как это оценивают те, кому что-то достается. Путаная мысль, но жизнь всё расставляет на свои места, как бы мы ни блудили словами. Возможно, это всё же как-то связано с тем, что мне запомнилось в «Гамбринусе» в тот вечер: и подергивание уголка рта проницательного сухожилого кельнера, и несвежие мои мысли о рабской сущности души, но еще и о том, что остается от человека в жизни материального, а что становится лишь барельефным оттиском в памяти.

Папа прозрачно усмехнулся, глядя с наивной хитринкой на кельнера, и, как бы продолжая свою мысль, что сын у него русский, заказал русский салат. Я знал, что так именуют в Болгарии московский оливье.

— Вот увидишь, — сказал он по-болгарски, самодовольно причмокнув губами и вновь покосившись на кельнера, — что это и есть настоящий салат. Не то что у вас там….

А потом вдруг высокомерно, глядя куда-то на карандаш за ухом, вымолвил:

— В России его называют оливье. А он ведь русский… этот салат. Так что правильней у нас.

К моему удивлению, суровый кельнер вдруг широко заулыбался, словно давно ждал такого случая услужить. Он мигом исчез, а через пару минут появился с небольшой фаянсовой салатницей, в центре которой островерхой

горкой скромно вздымалось бледное пюре. Я с усмешкой обозрел блюдо и тут же неуважительно пронзил его вилкой. Пюре, однако, оказалось необычайно нежным, даже воздушным, с неожиданным душком чего-то легко подкопченного и чуть солоноватого. Кельнер уже издалека, набегу, заговорщицки обменялся с отцом понимающими взглядами. Так мельком поглядывают друг на друга партнеры по софийскому «бридж-белоту» в простой карточной партии двое на двое. Это не приветствуется правилами и, хотя не считается запрещенным, всё же приписывается к легкому шельмованию.

Я заметил, как он подбежал, семеня ножками, к тучному старику лет за семьдесят, в потертом коричневом костюме, с непомерно большим засаленным узлом бордового галстука и со сморщенным воротничком несвежей, пожелтевшей рубашки. Огромный его живот был перерезан тонким кожаным ремешком, с которого по обе стороны свисали могучие холмы. Старик сидел «на кассе» у самого входа на кухню. Кельнер что-то ему буркнул, и тот, чуть приподнявшись с высокого табурета, со строгим любопытством зыркнул на меня.

Я его уже давно заприметил. Старик все время цеплял на нос очки в тяжелой роговой оправе и неспешно, шевеля полными губами, просматривал счета, потом долбил толстыми пальцами по клавишам старого, черного, тяжеленного чекового аппарата с немецкой витой надписью на ее медной части в виде причудливого кокошника, и тот со злобным треском выплевывал длинные гирлянды. Рулоны эти, завиваясь в упругие пружины, свисали вниз, между его слоновьих ног, и, наконец, оборвавшись, сворачивались в змеиные кольца под его табуретом.

— Ну, как? — с гордостью спросил отец и тоже легко подцепил вилкой салат.

— Вкусно! Но это не оливье. Это пюре.

Папа явно ждал именно такого ответа, потому-то, видимо, и не стал спорить (несмотря на свой неизживаемый с годами мятежный дух противоречия), а поднялся и не спеша побрел через половину зала к старику за кассовым аппаратом. Я видел, как он что-то стал ему быстро объяснять, а тот все чаще и чаще поглядывать в мою сторону. Отец вернулся, ловко обогнав нашего кельнера с круглым серебристым подносом, на котором стояли, словно впаянные в него, рюмки с ракией и раструбы с пивом. Пока кельнер разгружал поднос, отец рассматривал меня, словно незнакомца — с прищуром и хитринкой. Кельнер исчез и буквально через мгновение рядом со мной оглушительно заскрипел ножками венский стул, и на него тяжело опустился старик. Папа сразу протянул ему рюмку, но тот отрицательно покачал головой. Вдруг старик спросил меня с легким, непривычным слуху, старорусским выговором:

— Вы, несомненно, читали журналиста господина Гиляровского? «Москва и москвичи»?

Я немного смутился, но быстро закивал головой.

— Припоминаете ли, там есть нечто особенное… м-м-м, никто, дескать, так и не постиг, что именно употреблено в салате месье Оливье?

Я вновь кивнул, хотя помнил это очень смутно.

— Не припоминаете, вижу. Но я ведь вам напомнил. Теперь-то как?

— Да, да…

— Когда человек говорит два раза «да», это значит «нет». Когда говорит дважды подряд «нет», это означает «да».

Я несколько виновато улыбнулся, потому что старик был прав. Однако он оставался по-прежнему серьезным. В нем была какая-то неистребимая никакими потрясениями капитальность — и в тучной фигуре, и в мясистом лице, и даже в как будто мягких по непривычному звучанию русских словах. Словно это был тяжелый погост со старой русской эпитафией где-то очень далеко от русской же земли.

— Сюда, молодой человек, в «Гамбринус», этот рецепт от самого месье Оливье привез его личный поваренок, к тому времени… когда изволил прибыть, уже весьма и весьма пожилой господин, — сказал он вдруг назидательно, — еще при его высокопревосходительстве… при его сиятельстве… бароне Врангеле. Он тут служил шеф-поваром, до самой своей трагической смерти. Почил глубоким старцем за девяноста годков, но, однако же, крепким еще. Под мотоцикл угодил, на углу тут… Турок его сбил. А так бы еще пожил. У того турка на базаре дрянной обувной ларек свой был. Летел к пятничному намазу в мечеть, рядом здесь, на Триадице, торопился, видно… Вот и турка самого уж нет. Один я да мечеть остались…. И «Гамбринус», разумеется.

Я опять закивал, уже почти догадываясь, что все это значит. Но отец взглянул на меня строго и осторожно, тайком погрозил мне пальцем — молчи, мол, и слушай.

— Старец этот свое дело знал крепко. Сюда и его сиятельство любили захаживать… с господами офицерами, а старик тот у их сиятельства в поварах еще до гражданской состоял, будучи тогда в возрасте под шестьдесят годов. Так вот, молодой человек, этот салат… оливье… тут ведь и стали именовать русским, потому что русские его только и заказывали. Болгары-то с ним уже много позже познакомились. Он по всем правилам замешан… по особому рецепту… с каперсами, с нежным куриными мясом, если нет в кухне рябчиков, а то и с тем, и с другим, с паюсной икоркой, с томленной на пару севрюжкой, с жирной тонкой ветчинкой, с перепелиными яичками, с маринованными огурчиками, а не с солеными, грубого духа… как пот крючника… и на собственного приготовления нежном соусе с горчичкой и капелькой осветленного уксуса… с сахарком, коли желаете знать… вы его теперь у себя провансальским майонезом зовете... в нем тоже прованские травки благоухали и с легкой слезинкой, буквально с выдохом, греческое оливковое масло… и картошечка, сваренная в мундирчике на умеренном пару с петрушкой, и отборный нежный вареный горошек, и морковка, и зеленое спелое яблочко... с кислинкой непременно… Вот, что всегда в нем было и есть по сию пору. И еще, должно быть, что-то чрезвычайно особенное… но что именно, мне неведомо. Может быть, старик и сам не знал… ушло всё это с месье Оливье навеки. Однако же не сознавался. Сердился, когда спрашивали. Как черт упрямый был! М-да!

На последнем слове он с грустью вздохнул и коротко развел полными руками. Видимо, это его давно уже мучило.

— А Гиляровский? — спросил я вдруг, почему-то покраснев одними ушами.

Они словно у меня запылали от жара, шедшего откуда-то из истлевших времен, о которых я только в старых книгах читал.

— Что Гиляровский? Всё ведь это не разом мешалось, а в особенном порядке складывалось, чтобы одно к другому, и к тому же два часа настаивалось на льду. Но главное-то, чего не сказал Гиляровский!.. Ибо оно в том только и состоит, что после того, как напитанный собственными соками, обменявшися оными друг с дружкой, на своей же ледяной подушке, салат непременно перетирался на крупной терке. Потому и не могли нипочем гости московского «Эрмитажа», где хозяином и шефом был месье Оливье, угадать всех составных частей. Старик сам рассказывал… Не раз! Вот такое пюре получилось, как то, что нынче пред вами. Извольте видеть и вкушать! Разве что, еще сверху листья свежего зеленого салата и малосольной лососинки укладывались. Салатик-то зеленый… здесь его марулей зовут, и мы можем, а вот нежной лососинки тут где возьмешь — хоть соленой, хоть с пересолом! Северная рыбица, далеко ходит… Ну, бывало, еще одну тоненькую долечку лимончика с намокшими сахарными крупинками аккуратно выкладывали на бочку. Для аппетита исключительно.

Старик вдруг степенно обхватил толстыми пальцами мой пивной раструб и разом высосал из него все пиво, заснежив пеной полный, круглый свой подбородок. Потом, тяжело дыша, поднялся. Стул вновь возмущенно расскрипелся и испуганно вздрогнул. Старик повелительно махнул рукой нашему кельнеру и показал два пальца. Потом одним из них тыкнул в себя — дескать, повторить раструбы за его собственный счет. Затем, раскачиваясь,

как старый жирный гусь, тяжело заковылял к своему чековому аппарату с медной вершинкой, похожей на кокошник.

— Он поздний сын того старика-повара, — негромко, как доверенный секрет, сказал мне отец. — Рассказывали, что тот, будучи вдовцом, женился во второй раз уже в Софии почти под семьдесят и, представь, зачал сына и дочь, разницей в год! Жена его была лет на тридцать пять моложе, дочь русского князя… фамилии не знаю, а вот та, что сейчас будет петь, их дальняя родня. Не то самого старика, не то княгини этой. Городской софийский романс. Шлягер. И русские песни знает, а по-русски почти не говорит.

Он помолчал немного, а потом добавил совсем уж тихо, указуя одним лишь длинным своим носом на старика за кассой:

— Она третья по счету его жена… Хотя в какой-то степени и родственница ему. Детей, однако, у него нет.

Я вдруг почувствовал острую тоску и с раздражением проворчал:

— Да всё тут у вас какой-то… русский салат!

Отец взглянул на меня как-то странно и вдруг печально закивал, словно думал об этом уже давно. Он тяжко вздохнул и вновь ковырнул вилкой разоренное уже светлое душистое пюре.

Дородная, полногрудая дама нескончаемой молодости, шурша обтягивающим сдобные бедра платьем, постукивая невысокими каблучками, устало взошла на подиум, привычно, в высшей степени серьезно, вслушалась в клавишный перебор и в тяжкий вздох мехов аккордеона и вдруг повела тревожным грудным голосом историю о цветке, одиноко умирающем на недоступной вершине горного хребта. Вся его короткая жизнь прошла здесь, в отдалении от глаз и сердец человеческих, первозданная красота его никем не была оценена. Трагическая прелесть одиночества, как горькая неразделенная любовь. «Эдельвейс» — назывался этот печальный, тягучий городской романс, называемый здесь шлягером. Его очень любили в старой, уютной и тихой Софии. Старики и их зрелые сыновья роняли слезы на крахмальные скатерти и подпирали подбородки рукой, словно боялись, что романтичная печаль неизбывным бременем своим переломит им шеи. Женщины понимающе кивали им, не смея даже спросить, о чем это они тоскуют. К чему такие подробности на старости лет!

Спустя всего три года «Гамбринус» сломали. Туда въехали какие-то серые, безликие бухгалтеры и суетливые молодые дельцы с негасимым жуликоватым блеском в глазах, поделили зал на душные каморки, расколотили несколько витражей на верхней галерее, а еще через пару лет в малюсеньком помещении, где когда-то располагалась зеркальная прихожая и гардеробный

чуланчик «Гамбринуса», открылась невзрачная закусочная, в меню которой не было уже никаких русских салатов.

Мой папа очень скоро умер.

ЭПИТАФИЯ

(отрывок из книги «Небесная станция по имени Рай»)

Тому уж столько лет, сколько не длится человеческая жизнь. Поколение ушло за поколением, одни заблуждения сменились другими. Счет потерян и живым, и мертвым…

На надгробном камне, бесформенном куске гранита, было выбито неумелой рукой:

«Здесь упокоился Тот, чье имя не имеет значения. Тот, чей приход в мир, равно как и уход, не имел ни смысла, ни содержания.

Оглянись вокруг! Сотни тысяч, миллионы надгробий с именами и датами рождения и смерти. Разве тебе есть дело до них? А уж им, обманутым рождением и поглощенным небытием, и подавно нет дела до тебя, еще живого…»

Генрих стоял над гранитом и думал, что, пожалуй, он один из немногих живущих знает, чье тело тлеет под гнетом этого валуна. Они встретились когда-то, очень-очень много лет назад в маленькой журнальной редакции в восточном районе Софии. Генрих и этот, кто назвал себя в эпитафии «Тот». Назвали его так не те, кто закопал его сюда и завалил могилу осколком гранитной скалы, а именно он сам.

Этот гранит лежал у него на дворе с незапамятных времен. Древнее деревянное строение, которое служило ему домом при жизни, должно быть, помнило еще, как кто-то привез сюда этот камень и свалил его в углу двора, под кустом колючек.

Он долго стоял перед камнем, задумчиво поглядывая на него, потом ложился рядом, на траву и созерцал камень. Позже он сколотил из досок стол и лавочку и вбил их в землю перед камнем.

— С этого камня начнется моя жизнь, Генрих! — сказал как-то он вечером, поздней холодной осенью.

Генрих недоверчиво посмотрел на него, потом оглядел камень.

— Не веришь? — улыбнулся тот. — И напрасно! Человек должен с чего-то начинаться…

Генрих покачал головой.

— Ты хочешь сказать, что начинать уже поздно? Что я начался с мелкого песка, а не со скалы? Но это не так, Генрих!

Генрих пожал плечами и отпил глоток вина из высокого фужера простого стекла с гравированными листочками винограда. Тот тоже отхлебнул из своего фужера и причмокнул.

— Плохое вино, Генрих! В прошлом году урожай был неважным! Слишком много влаги! Один дождь на языке… Не находишь?

Генрих кивнул и опять отпил.

— Так ты думаешь, я начался с песка?

Генрих пожал плечами. Он не любил его болтовни. Всегда ни о чем и не тогда, когда надо.

— Нет. Это не было началом, мой друг! Человек физиологически начинается с молочной белой капли, а не с песка. Песок может вызвать только раздражение нежных женских тканей. Разве не так?

Генрих неопределенно пожал плечами.

— А потом, у каждого в свое время, появляется камень — большой или маленький, и с него начинается истинная жизнь, Генрих. Вот моя началась с этого!

Он указал пальцем на гранит и, любуясь им, зажмурил глаза. Оба долго молчали, отхлебывая вино и подливая его из дамаджаны, оплетенной стеклянной бутылки литра на три.

— Я вот о чем подумал, Генрих, — проговорил тот. — …Я подумал о тебе… Нет, даже не о тебе, а о том, о чем ты подумал…

Генрих с удивлением поднял на него глаза, наморщил лоб.

— Ты вот о чем подумал: этот камень валяется у меня на дворе уже, наверное, лет пятнадцать. То есть еще до того, как я стал считать этот двор своим. Его привезли до меня бог знает кто и бог знает для чего. И что же, подумал ты, он лежит здесь столько лет, врос в землю, под ним роятся черви, а я только сейчас понял, что он и есть мое начало! Ведь так ты подумал, Генрих? Сознайся, наконец!

Тот даже повысил голос. Генрих на всякий случай утвердительно кивнул.

— Ну вот, видишь! Я слышу твои мысли, дружок! Но они ошибочны! Они безнравственны, потому что бездуховны! Ведь этот камень родился на свет миллионы лет назад. Его извергла земля потоком лавы, он остывал не один год, а может, не одно десятилетие, потому что вокруг бушевали огнен-

ные реки. И что же? Когда он остыл, а меня еще на свете не было и быть не могло, он так и лежал без дела? А как только я появился, то он сразу и стал моим началом? Абсурд! Если бы я не понял в какой-то момент, что он мое начало, то он так бы и остался обычным, серым осколком. Я его начало, Генрих! Я — так же, как он теперь мое! Как только это пришло мне в голову, и у камня, и у меня образовался общий смысл… Теперь ты понимаешь, как незрелы твои подозрения?

Генрих кивнул. Понимаю, мол.

— Это хорошо, что ты сознаешься…

В том году они больше не виделись. Генрих вступил в полицейский отряд и день и ночь патрулировал улицы, на которых вот-вот должны были появиться террористы. Правда, они называли себя партизанами. Становилось скучно, потому что улицы, по которым по ночам вышагивал Генрих, террористов, видимо, совсем не интересовали, как, впрочем, и вся восточная окраина Софии.

Генрих бы зашел к нему, чтобы посмотреть на камень и выпить вина из пыльной дамаджаны, но тот исчез. Остался лишь камень, никому не нужный осколок гранитной скалы. Тот был в горах, с террористами. Он бросил свою писанину в левом марксистском журнальчике и ушел в горы. Генрих не мог себе его представить там — с ружьем в белых цыплячьих ручках, в пенсне на горбатом носу, худого и мелкого, кривоногого плоскостопа.

Его отец был учителем в пригородных деревнях, леваком и наивным всезнайкой. Он унаследовал это от отца. Верил в левые истины, верил в благодарность поколений и в свое бессмертие.

Генрих в это не верил. В полицейский отряд его никто не звал. Он сам туда пошел, бросив писать в том же левом журнальчике и тайком подрабатывать редактором в ультраправом. Во-первых, это уже не приносило материальной выгоды, а во-вторых, мир надо было спасать от иллюзий. Единственный путь: бороться с оружием в руках с теми, кто эти иллюзии взращивает, с левыми. Оружие, правда, выдали болгарские наци… И форму, и погоны рядового... Но они, эти наци, хотя бы не были иллюзией, а самым что ни на есть вульгарным натурализмом: мясо, кровь... Никаких иллюзий! Они ничего не хотели менять! А левые и тот хотели! С кем должен был быть Генрих?

Потом они встретились в тюрьме после победы левых. Генриха вели на допрос, связав за спиной руки, а его волокли по коридору навстречу, умывающегося собственной кровью и холодным потом. Пенсне не было, глаза покраснели, горбатый нос был разбит и порядком распух. Теперь нос не казался горбатым…

Генрих увидел его и удивленно распахнул глаза.

— Вот видишь, Генрих! Ты был с ними, с нацистами, а я был против них! Но мы оба здесь…

Генрих кивнул. Их растащили. Три последующие ночи во дворе гремели выстрелы. Генрих понимал, что это расстрелы. И почему-то думал, что того, должно быть, шлепнули одним из первых. Генрих тоже ждал своей очереди, но однажды дверь камеры распахнулась, и его вышвырнули на улицу, поддав коленом под зад. Выяснилось, что рядовые полицейские на тихих окраинных столичных улочках вряд ли могли быть полезны врагу, а значит, были безопасны и для новой власти.

Генрих устроился в тот же левый журнал репортером, который теперь был не просто левым, а очень и очень левым, левее некуда.

Однажды он писал о «трудовой терапии» вчерашних заклятых врагов и заблуждающихся единоверцев, сосланных всех вместе на каменоломни в горы. Генриха пустили в лагерь, и он увидел передовиков. Среди них был тот. Он отбивал от гранитной породы огромные глыбы, не меньшие чем та, что до сих пор лежала во дворе его дома на окраине Софии. На носу были очки, горбинок стало уже две — одна от рождения, другая от его личной неосмотрительности, руки и ноги усохли, покрылись бурым горным загаром.

Генрих посмотрел на него и испуганно вздрогнул. Тот улыбнулся и сказал:

— Я исправился, почти исправился! Труд, Генрих, только труд! Никаких иллюзий! Никакого оппортунизма в наших рядах! Ты не видел моего камня?

Генрих отрицательно покачал головой.

— Жаль! Кланяйся ему, как вернешься. Скажи, я скоро!

«Скоро» произошло через три года. Однажды он вошел во двор дома и удовлетворенно отметил, что дом надежно заколочен, пребывает в летаргическом сне. Это означало, что с момента его первого ухода в горы на стороне тех, кто потом осуществил его второе восхождение туда же, в каменоломни, здесь не было чужих. Камень лежал во дворе на том же месте, порос мхом, словно сторож или пастух, одетый в старый, рваный тулуп.

Он пришел в редакцию и прямо с порога улыбнулся Генриху.

— Мне нельзя работать в пропаганде, Генрих! Еще пять лет. Но наборщиком можно. Ты будешь писать, а я набирать. Приходи к камню выпить вина. Я купил на базаре бочонок. Говорят, в прошлом году был неплохой урожай. Ты помнишь прошлый год? В тех горах ведь нет урожая! Я не знаю, что было в долине…

В тот же вечер Генрих и тот сидели за уже почти сгнившим столиком и пили вино из Пазарджика, прозрачное, красное, сухое.

— Ишь ты, камень-то все тот же! Позеленел немного, но все тот же! Я же тебе говорил — он мое начало!

Генрих с удивлением поднял на говорившего глаза. Ничего себе, мол, начало!

— Не удивляйся, мой друг! Начало бывает разным. Главное — продолжение! Вот, погляди, я начал там писать стихи… Впрочем, я всегда их писал, но это было так… пустое дело. А теперь!

Свирепый бой идет в ущелье:

Из равнины буря рвется,
Сеет смерть и разрушенье,
Красит кровью небеса!

Камни манит на свободу,
Крошит скалы мощью ветра,
Оглушает землю стоном,
Слепит ужасом сердца!

Но стоят в строю гранитном
Наши валуны!
Не пройдут ветра лихие
С вражьей стороны!

— Тебе нравится? Скажи, Генрих, тебе нравится?

Генрих кивнул неопределенно.

— Мне тоже! Не нравится. Там, где я был, тихо — ни ветерочка, ни шепота из равнины! Только скалы, сырость, безвременье. Как в могиле. И камни никто на свободу не манит. Некому манить! Одни валуны… в гранитном строю. И мы, мелкие камешки, которых забвение крошит в песок…

Однажды Генрих прочитал это стихотворение в еще более левом журнале, чем место, в котором он служил репортером, хотя не знал, что такое возможно. Значит, тот, набирая их журнал, писал в другой. Хотя ему нельзя было заниматься пропагандой. И все же напечатали!

Вскоре тот уволился с должности наборщика и кто-то помог ему преодолеть запрет. Он стал издаваться. Однажды они встретились на писательской конференции: тот был уже довольно известным писателем и поэтом, а Генрих — репортером, который рассказывал о писателях и поэтах и их конференциях.

Они сидели за столиком в буфете и пили коньяк.

— Вот видишь, как бывает, Генрих! Мое имя знают… и не только в карательных органах… Печатаюсь, издаюсь! Вот тебе и камень! Начало начал!

Генрих улыбнулся.

— А ты все репортерствуешь?

Генрих печально кивнул.

— Ничего, дружок, каждому свое! Знать свой шесток тоже не каждый может. Это талант! У тебя есть талант! А у меня?

Генрих пожал плечами. Не знаю, мол.

— И я не знаю. Вот, послушай... Нет. Не буду. Это про таракана, про черного таракана, который мечтает взлететь в небо бабочкой. Вот, думает он, как уродлив кокон, а какое чудо из него выходит. Почему же я рождаюсь тараканом и тараканом подыхаю! Глубоко?

Генрих кивнул. Глубоко, мол. Про таракана и бабочку. Хорошая пара!

— Мне иногда припоминают мои заблуждения, Генрих. Колют глаза. Мелкими такими иголочками, как от елок. А тебе колют?

Генрих поджал губы и отрицательно повел головой.

— А странно, друг мой! Ведь твой отец был русским офицером, из белой армии. А еще… вы немного немцы? Ведь правда? Когда-то такие были в России. Вас всех вышвырнули ваши красные, то есть наши, к чертовой матери! Я это знаю!.. А потом ты стал полицаем, служил у нацистов… а партизан называл террористами… И теперь тебе не колют глаза мелкими елочными иголочками. Почему?

Генрих опустил голову и отпил коньяк.

— То-то же! Я, наверное, опять пойду в наборщики. У вас есть места?

Генрих вновь отрицательно повел головой.

— Я так и думал! Хорошие места всегда заняты. Остались только должности плохих поэтов.

В последний раз они опять виделись около камня. Генрих к тому времени перевелся в газету ответственным секретарем, а тот крапал пьесы и сценарии, которые не только не ставили на сцене или не снимали в кино, но даже и не думали читать. Чтобы не умереть с голоду, он переводил с русского скучные технические тексты.

Генрих заехал к нему под вечер, на своей машине. Подошел к старой ограде и услышал мерное постукивание. Вошел в калитку. Около камня на коленях стоял тот и что-то старательно выстукивал деревянной киянкой по длинному резцу. Увидев Генриха, он поправил на носу очки в старой медной позеленевшей оправе и улыбнулся.

— Наконец-то! Смотри! Впрочем, потом посмотришь! Сначала выпьем. В прошлом году был плохой урожай, зато в позапрошлом хоть куда. У меня есть бутылка старого вина позапрошлого урожая! Не откажешься?

Генрих кивнул.

— Вот и хорошо! Я сейчас, сейчас…

Только теперь Генрих увидел, что на нем надет кожаный фартук. Тот сбросил его на окончательно сгнивший деревянный стол и побежал в дом. Большая часть окон так и осталась заколоченной. Жили только два оконца. Остальные ослепли и окончательно умерли, то есть так и не вышли из летаргического сна.

Генрих подошел к камню. На нем было выбито:

«Здесь упокоился наконец Тот, чье имя не имеет значения. Тот, чей приход в мир, равно как и уход, не имел ни смысла, ни содержания. Оглянись вокруг!»

Тот стоял за спиной Генриха, держа в руках бутылку и два фужера простого светло-розового стекла с нацарапанными на внешней поверхности виноградными листочками.

— Это последнее, что я напишу, Генрих! Это уж точно издадут! Как думаешь? Мои друзья издадут. Мы с ними вместе были в горах… оба раза. Говорят, терпи… Я терплю! Как думаешь, не подведут? Только бы их не пережить, а то «не издадут», некому будет…

Генрих повернулся и внимательно посмотрел ему в глаза, сверху вниз.

— И я так думаю! Издадут. Я потом допишу окончание. Пока не придумал. Есть еще время, да?

…Генрих стоял над камнем, на старом городском кладбище, и думал, что кто-то все же «издал» его труд, кто-то позаботился об этом. Значит, еще кто-то знал имя «Того, кто упокоился» здесь.

Спустя десять лет, внизу на камне, прибавилось:

«…И тот, кто знал имя Того.

И те, кто знали Их имена, упокоили их здесь и упокоились сами, без имени и без памяти о себе».

Скоро рядом лег Генрих, но его имя написали, и дату рождения, и дату смерти. Ему при жизни не кололи глаза прошлым, как елочными иголками. Поэтому его имя можно было написать.

ТАТЬЯНА ШИПОШИНА

НЕСОГРЕВАЕМОЕ

Она заглянула в комнату отдыха. Он лежал на диване, положив под голову одну из казённых подушек. В наволочке из вишнёвого бархата. Вторая подушка валялась на полу. На ней — отпечатанные скреплённые листы. Текст пьесы.

Такого же тона и цвета, как подушки, — тяжёлые бархатные театральные шторы на окнах. Шторы сдвинуты. В щель меж штор — вечерний свет с отблесками заката.

Его глаза закрыты. Бледный высокий лоб, тонкий нос, круги под глазами. Волосы с проседью.

В её руках — клетчатый плед. Увидев, что он дремлет, она произнесла:

— Ой! — И стала тихонько закрывать двери.

Он открыл глаза. Глаза спросили её: «Чего тебе?»

— Я хотела... хотела... вы отдыхаете... можно, я согрею вам ноги?

— Откуда тебе известно, что у меня ноги холодные? — усмехнулся он, не отрывая головы от подушки.

— Помните, на репетиции сегодня вазу разбили? Я убирала осколки и случайно... я случайно оказалась рядом с вами... я дотронулась...

— Понятно. Ты уборщица?

— Да. В институт не поступила, вот... устроилась сюда. А вы... вы к нам приехали... Вы... а ноги... холодные такие... я принесла плед. Извините.

— Ну, согревай, — усмехнулся он. — Согревай, девочка. Согревай несогреваемое. Постоянный холод. Да.

Она робко подошла к дивану.

— Подожди. Ты знаешь, кто я? Что-нибудь знаешь обо мне?

— Сказали — режиссёр знаменитый, из Москвы. Ставить будете пьесу в нашем театре. И всё... я болтовню не слушаю. Сама себе хозяйка. Я фамилию вашу забыла, извините.

— Ты поступала в театральный?

— Нет. В медицинский. Здесь моя мама работает, в кассе. Она меня устроила. Мама болеет сильно. Иногда я днём за неё в кассе сижу, а убирать прибегаю вечером. Вы репетируете как раз. Наши-то больше днём.

— Значит, не в театральный?

— Нет.

— А тебе нравится театр?

— Да так, не очень... бывает фальшиво.

— Ты не мечтаешь стать актрисой?

— Нет. Давайте я вам ноги укрою.

Она набросила плед на его ноги. Стала укутывать их, как укутывала бы мама. Или бабушка. И вдруг опустила руки, разогнулась, и на него устремился пронзительный взгляд каких-то аметистово-серых, бездонных глаз.

На него надвинулась параллельная Вселенная.

Он пару раз быстро повернул голову на подушке, чтоб стряхнуть наваждение.

— Да, да, — сказал он. — Ног нет. Это протезы. Ниже колен. Одна — по самое колено, другая — ниже. Но почему-то она больше болит.

— Простите... — прошептала она. — Я не знала.

— А я не афиширую, — снова усмехнулся он. — Я афиширую только спектакли. Хотя в театральном мире — это не тайна. Но ты же — из другого мира.

— Наверно, у вас хорошие спектакли, — очень тихо произнесла она. — Иначе вас не пригласили бы к нам.

— Да. Я в театре, я в кино. Но ты же не любишь театр!

— Если я полюблю человека, я полюблю всё, что он делает.

— Почему ты говоришь об этом?

— Я могу... могу полюбить... театр.

— К чему такие жертвы.

— Это не жертва. Это... ну, так, как есть. Разве бывает иначе?

— Посиди со мной, — попросил он. — Здесь, на стуле.

Она присела.

Он снова закрыл глаза. Казалось, он заснул. Она осмелилась взглянуть в его лицо ещё раз. Такие лица приходят во снах.

Наяву в такие лица глядеть больно. Страшно. Это как конфетка «Взлётная». Сладкая, но ты в самолёте, а впереди — взлёт. И все, какие только возможно, вероятности аварий и падений.

Она сидела, он лежал.

Наконец, он открыл глаза.

— Спасибо. Я не держу тебя, иди.

— Мне никуда не надо идти, — сказала она. — Я могу остаться.

— Я старше тебя вдвое, — произнёс он. — Может, и больше. Не придумывай себе сказок.

— Мне кажется... вы тоже...

— Что — «тоже»?

— Вы придумываете сказку.

— И ты играешь в ней роль принцессы, — усмехнулся он.

— Я не хочу играть роль. Но я...

— Знаешь, мой жизненный опыт...

Он почувствовал, что его слова повисли в воздухе. Жизненный опыт — не обёртка от конфеты. Его нельзя просто так отбросить.

Попал в урну, не попал в урну...

Обёртка зависла в воздухе.

И тут... Тут он почувствовал, что у него согрелись ноги. Впервые за те пять лет, с тех пор как он потерял их в тяжёлой автомобильной аварии. Впервые за те пять лет, как от него ушла его вторая жена.

Впервые за те пять лет, которые... которые...

СМЕЛОСТЬ

В это хирургическое отделение я пришёл интерном, на практику. Мне хотелось оперировать самому, но доктора в отделении не очень-то радушно подпускали меня к операционному столу. В основном давали «тянуть крючки», то есть стоять на месте ассистента. Давали узел завязать, кожу зашить.

Я, конечно, и «тянул», и зашивал, но душа моя жаждала большего. Мне хотелось оперировать самостоятельно. Но никто из докторов не хотел рисковать ради меня. Речь шла о личной ответственности за чужую человеческую жизнь. Ни больше, ни меньше.

С одной стороны, я это понимал, но с другой… Уж очень обидно! День за днём, ночь за ночью — и ничего.

И тут из отпуска вернулся в отделение доктор Сергеев, Александр Петрович.

Или просто — Петрович, как его называли сотрудники.

На вид — лет пятидесяти пяти, может и больше. Лицо смуглое, с мелкими морщинами. Глаза ясные, серые, волосы седые.

Петровича встретили тепло. Люди радовались не только тому, что хирургические дежурные бригады автоматически пополняются одной человекоединицей. Петровича просто уважали — как специалиста и человека.

Когда нас знакомили, Петрович протянул мне руку. Крепкую, жёсткую и крупную, как у рабочего.

— Ну, ну! Привет, молодёжь! Небось, оперировать хочешь? Рвёшься в бой?

Мне оставалось только кивнуть.

— Посмотрим, посмотрим…

Через день я дежурил с Петровичем. Поступил очередной «аппендицит». Когда дело дошло непосредственно до операции, Петрович вдруг поменялся со мной местами.

Обошёл вокруг стола и произнёс:

— Сегодня оперирует Евгений Александрович. Я ассистирую!

Глаза сестёр заулыбались под масками, а мои ноги задрожали. Именно задрожали, мелкой дрожью. Пока я обходил стол, чтоб встать на место первого хирурга, — думал, упаду.

Но не упал.

— Давай, Женя, — скомандовал Петрович. — Скальпель бери. Вслух говори, что делаешь. Спокойно!

— Разрез… по Мак-Бурнею… — начал я. — Теперь — сушить.

И понеслась…

Сколько раз я мысленно проделывал все этапы операции! Сколько раз делал некоторые её части, с места ассистента!

Но когда ты становишься главным действующим лицом... Когда ты берёшь ответственность на себя... На себя, и ни на кого больше! Ух!

Я сумел довести операцию до конца. По спине тёк пот.

Вероятно, у меня был хороший ассистент.

— Неплохо, — заключил Петрович, когда мы снимали операционные халаты и «размывались». — Учти, теперь этот больной — твой. В конце дежурства и завтра навестишь его, скажешь, что ты его оперировал. Потом перевяжешь. Чтоб без осложнений. Какие могут быть осложнения?

Мои ноги снова предательски дрогнули. Петрович не дал мне даже как следует порадоваться первой в жизни самостоятельной аппендэктомии!

— Несостоятельность швов… — пролепетал я. — Нагноение, перитонит… абсцесс… тромбоз…

— Верно, верно. Только хирург никогда не говорит об этом вслух. Всё — внутри. Живёшь и действуешь, несмотря на знания. Понятно? — Глаза Петровича смеются.

— Да…

— Вот теперь — поздравляю! И завтра — на обход!

С этого дня я ходил за Петровичем, как хвост. Дежурил с ним все его дежурства. А дежурил Петрович на неделю два раза, а то — и три. С Петровичем я сделал первое своё грыжесечение. И ещё многое сделал я впервые рядом с этим человеком, благодарность к которому сохраню, как говорится, «по гроб жизни».

Однажды, во время ночного дежурства, когда мы с ним вдвоём пили чай в ординаторской, я не выдержал и сказал Петровичу:

— Александр Петрович, вы не представляете, как я вам благодарен!

— Ну, ну… — усмехался Петрович, прихлёбывая чай.

— За смелость! — продолжал я. — Ведь все боялись мне доверять, а вы… вы…

— Смелость… — как-то задумчиво протянул Петрович. — Да я эту смелость… видал…

По интонации я ощутил, что само слово «смелость» Петровичу неприятно. Петрович даже отставил в сторону чашку с чаем и пару раз прошёлся по ординаторской. Потом обернулся ко мне с каким-то потемневшим лицом, сел и произнёс:

— Ну, слушай… про смелость. Тебе, наверно, уже рассказали, что я в Афгане служил?

— Да.

— Воевал. Геройски, можно сказать. Военно-полевую хирургию изучал… не по учебникам. Служил нормально. Не бегал, в передрягах бывал, всё, можно сказать, путём.

— Вот, видите! Вы герой! — не мог не вклиниться я.

— Герой… Ну, вот. Приходит приказ — с завтрашнего дня заменяться, отбывать из части. А была в Афгане примета: кто в дело идёт после приказа — того обязательно убьют. И тут прибегает командир — срочно нужен доктор, сопровождать большой конвой. Ну, и я…

— Пошёл сопровождать?

Петрович откинулся на спинку стула, вытянул руки со сжатыми кулаками. С большими такими, рабочими кулаками.

Помолчал.

— Нет, не пошёл. Накануне у меня небольшое ранение случилось, в бедро — так я заявил, что рана открылась. Она, зараза, и правда заживать не хотела, но это — не причина, чтоб не ехать. Вернее, не рана была причиной того, что я не поехал. Не рана, а примета. Понимаешь? Сердце дрогнуло.

— Понимаю…

— Да что ты, Женька, понимаешь! Разбили конвой. Многие полегли там, в том числе и тот доктор, что меня заменил. Хороший мужик. Моложе меня.

Тут уж я не нашёлся, что ответить. Требовалось, наверно, сказать, что Петрович не виноват. И приказ пришёл, и опять же рана на ноге. Но…

А Петрович продолжил:

— Заменился я, вернулся домой. Ну, радость, то да сё… И не могу. Не могу жить нормально, понимаешь… Как переклинило что-то во мне. Переключило меня.

— Пить начал?

— Пить? Пить — это потом. Хуже, чем пить.

— Наркота?

— Хуже.

— Что может быть хуже наркоты?

— Может… страх. Накатил на меня жуткий страх. Страх смерти. Начал я бояться. Даже по улице ходил… в середине тротуара — боялся, что кирпич сверху свалится. Не смейся. Боялся улицу переходить, на самолёте летать. С работы уволиться пришлось — боялся человека тронуть — не то что оперировать. Боялся на автомобиле ездить, а если очень надо было куда-то — не больше 50 километров в час. Вечером на улицу не выходил — бандитов боялся. Темноты… представь себе здорового мужика, который боится темноты. Всё внутри дрожало. Руки холодели.

— А жена?

— Жена сначала не верила, смеялась. Потом, когда с работы ушёл, стала меня по врачам таскать, таблетками пичкать. Речь шла о том, чтоб инвалидность мне оформить. Такая вот смелость, брат. До психушки.

— Не могу поверить, — выдохнул я.

И правда, поверить в такое, рядом с этим большим, мудрым, смелым человеком! Один поступок, один шаг, да и тот — нормальный, можно сказать, человеческий поступок, а дал толчок такому…

Мы помолчали.

— И как вы… вылечились?

— Жизнь вылечила. Страшными таблетками жизнь лечить умеет, друг Женька. Потому что Бога — не обманешь.

Я не торопил Петровича. Понимал, что такие рассказы легко не даются.

— Сын у меня к тому времени подрос. Взял он у своего друга мотоцикл, погонять, перед девчонками покрасоваться. Разогнался на шоссе, а тут — КамАЗ. Насмерть разбился. Раз, и всё. В один миг.

Чай наш давно остыл. Петрович налил в чашку тёплой воды и выпил залпом.

— Берёгся — я, боялся — я, а пострадал — сын. Вот тогда я начал пить, — проскрипел Петрович. — Расклинило меня. Бояться стало нечего — осталось только себя глушить, и по полной. Хоть головой бейся о стену, хоть кричи, хоть молчи, а ничего не изменишь. Метался я. Сколько раз… сколько раз хотел на себя руки наложить. Но Бог отвёл.

Петрович на мгновение прикрыл глаза.

— Только Он и знает, как я пил. Жена не выдержала — ушла. Дочь старшая — та давно откололась, замуж вышла. Я сидел дома один и пил. Наверно, год. Или два. Опустился… до бомжа.

— Как же… как же…

— Как я вылез?

— Угу.

— Да так... раз среди бомжей поножовщина произошла. Один другого по шее полоснул. Ну, а я там рядом кантовался. Хоть и пьяный, а сонную артерию успел прижать и держал до приезда «скорой». Инстинкт, понимаешь… Хоть руки и тряслись. Сказал бригаде, что я бывший врач. А врач «скорой» мне и отвечает: «У нас людей не хватает, по двадцать пять вызовов за смену пашем, а ты, батя, бомжом заделался. Давай возвращайся!»

— И вы вернулись?

— Не сразу. Тогда, после слов молодого доктора, что-то стало во мне поворачиваться. Но мне требовалось ещё разобраться, что произошло. В церковь сам пришёл, ещё бомжом. Попался мне священник умный… и добрый… Умер он уже, царство ему небесное. Каялся я... Пару раз срывался. Снова каялся. Потом документы свои нашёл, ну, а дальше — дело техники, понимаешь. Отмылся, постригся. На курсы съездил. Голова сохранилась, а руки — они всё помнят. Дрожать скоро перестали. Даже наоборот — стал некоторые операции делать, за которые до того не брался. Я тут, в отделении, уже десятый год. Предлагали зав отделением стать, но я отказался. Оперировать надо, понимаешь, а не заведовать.

За окошком ординаторской — глубокая ночь. Хирургическое отделение спит. Не спит только Приёмный покой.

«Приёмный» — да. Но «покой» — это совсем не про «приёмный». Наше чаепитие прерывает телефонный звонок.

— Александр Петрович, скорее бегите!

— А что там?

— «Скорая» пишет — «прободная язва». Вам везёт, как всегда.

— Ах, ты… — качает головой Петрович. — Поднимайся, студент.

Петрович кладёт трубку и смотрит на часы:

— Три утра. Час волка, бандита и панкреатита. Язву ушивал?

— Нет! — предвкушаю я.

— Ну, так сейчас, может, и ушьёшь. Но смотри, если будет резекция — не проси, тебе пока рано. Я сам. Тебе только дам пошить. И то, если ты мне ход операции расскажешь.

В ту ночь я ушил первую в своей жизни прободную язву.

Много раз возвращался я памятью к Петровичу, с благодарностью, как к первому своему учителю. Часто размышлял о его истории.

Я становился старше. Менялось мировоззрение. И история эта поворачивалась ко мне разными своими сторонами.

В жизни многое вроде бы одинаково, но и это одинаковое — такое разное! Даже обычный аппендикс может располагаться и типично, и под печенью, и в малом тазу. И если он воспаляется, хирург должен быть не только грамотным, но и достаточно смелым, чтоб не опустить руки и проверить все возможные локализации.

И мудрым — понимать, что если надо что-то удалить, то припарки и таблетки не помогут.

Вот, как-то так.

ВИКТОР ЧЕРНЯК

РИТА И МАСТЕР

Архитектор Погудин влюбился в экономистку Риту. Ничего удивительного. Удивительно другое: влюбилась и она, причем нешуточно, а она, между прочим, на двадцать лет моложе его младшего сына Алика. Вечером, после работы, Рита поднималась на третий этаж к нему в мастерскую, включала чайник.

Раньше Погудин рисовал московские улицы, а теперь портреты Риты.

Старик с желто-белыми волосами до плеч, ноги длинные всегда в узких вельветовых брюках, размахивает руками и, разговаривая, сгибается перед собеседником, потому что высокого роста.

Однажды он подвез новую сотрудницу на своих «жигулях» до метро, в машине она показала ему свою пляжную фотографию: что и говорить. Тоненькая, глаза карие. Пожалуй, чересчур смугла и губы как у гогеновских таитянок. Глаза с поволокой. Один остряк сказал: с волокитой. В институте только попадись на язык. Они работали в старинном здании. Рита поставила на подоконник стол и стул. Работая, загорала. Сотрудницы возмутились: что она себе позволяет, бездельница, пообещают уволить.

— Не-а, — сказала Рита, — меня нельзя уволить. Я молодой специалист, по распределению. Три года должна отработать.

Всю жизнь Погудин проектировал спортивные сооружения — стадионы, плавательные бассейны. Теперь собирает в старых журналах их фотографии — для монографии.

Рита ему помогает.

— Папа, не сходи с ума, — сказал ему сын Алик.

Сынок Алик попытался даже приударить за Ритой. К общему удивлению, номер не удался. Рита даже не поняла, чего это он, а когда поняла, так

отшила, что активный сынок не стал переспрашивать. О ней говорили: дура. Можно подумать, она сама не знает.

Погудин рассеян. В институте его загружают рутиной, поручают доделывать чертежи для чужих проектов. Поругивают за прогулы, то есть выживают с работы, а сказать прямо не решаются.

— Прочему Погудин вчера не был? — спрашивает начальник Риту.

— Он предупреждал, — говорит Рита.

— Кого предупреждал? Тебя?

— Меня, но я забыла вам сказать.

Она спрашивает его, как будто сама не знает:

— Почему ты вчера не был на работе?

— Разве? — удивляется он.

Коллеги привыкли. Подшучивают, особенно молодые архитекторши. Он не слушает. Терпеливо подождет окончания шутки, спросит:

— Это все? — И уходит.

Меняется Москва, правительство, климат, институтское начальство, но Погудин не меняется. Каждую зиму он падает на скользкой улице два или три раза. Прямо на спину. Прохожие осторожно обходят старика, он поднимается и идет дальше.

Вечером они вдвоем сидят в мастерской, Рита кипятит чай и приготавливает бутерброды.

— Она умная, — говорят коллеги.

— Но ленивая.

— Избалованная.

— Вроде некем.

— Собиралась стать артисткой, математика перетянула.

— Жалко ее, беззащитная.

— Нереальная.

— Разница в возрасте — ерунда, главное, им хорошо вместе, по себе сужу.

— Я бы еще поняла десять лет, но у них… сколько у них? Рано или поздно она почувствует, что пропустила главное в жизни.

Трепались — кто во что. А Жура, бессменный парторг, вспомнил анекдот про старика, к случаю, у него всегда — анекдот к случаю.

— Одному старику из Флориды, — говорил он, — принадлежала ферма. На ее задворках был небольшой пруд, около которого росли фруктовые деревья. Этот пруд был построен для купания. Однажды вечером старичок решил пройтись до пруда, где он не был уже давно, и проверить, как там дела.

С собой он захватил большое ведро, чтобы нарвать себе фруктов. Когда он подошел к пруду, услышал крики и веселый смех. Подойдя поближе, увидел, что это веселились несколько девушек, купавшихся в его пруду. Увидев его, они завизжали и уплыли на дальний конец пруда. Одна из девушек крикнула фермеру: «Мы не выйдем из пруда, пока ты не уйдешь!» Старик нахмурился. «Я пришел сюда не для того, чтобы наблюдать, как вы здесь плаваете голыми, и не для того, чтобы выгнать вас из пруда без одежды». Подняв ведро, он продолжил: «Я просто пришел сюда покормить аллигатора…»

— Ну и что ты хотел сказать?

— Только то, что старики соображать умеют…

Каждый вечер Погудин рисует ее портреты — карандашом, гуашью, маслом. Один портрет ей особенно нравится — там он ее понимает.

На вечеринке к Погудину подошла инженер Лариса Подугольникова, скорее под сорок, чем за тридцать. Красивая, но не везучая. Кофточка соскользнула с плеча. Дошла очередь до Погудина. Он танцевал потешно. Казалось, колени на шарнирах. Совсем разошелся старик. Все смеялись. Кроме Риты.

Подугольникова дама полная, она обняла его за шею, прижалась. Рита подошла и опрокинула на назойливую сотрудницу тарелку с оливье. Подугольникова завизжала.

— Ой, извините. Пойдем отсюда, — сказала Рита. — Здесь душно.

Погудин пошел за ней.

Сын Погудина — Алик больше не пытался приударить за Ритой, решил напугать ее.

— Ты знаешь, — сказал он, — что Симонетту Веспуччи — ту, что самому Боттичелли позировала в «Рождении Венеры», современники считали божественно красивой?

— Слышала, — говорит Рита. — И что?

— Так вот, красавица умерла в возрасте двадцати двух лет. Слышала?

— И что?

— Ты слышала, что все женщины, которые позировали художникам, умирали почти сразу.

Рита посмотрела на молодого человека с удивлением.

— Жалко девушек, — сказала она. — К чему это?

В институте ее выбрали секретарем комсомольской организации. Она обрадовалась. Летом поехали всем отделом в подшефный совхоз Озеры. Рита купалась в Оке. Совсем голая. Ее с берегов фотографировали.

— Ну, зачем ты так? — сказал Погудин.

— Ты не хочешь? Больше не буду, — радостно сказала она, обнимая его.

УЛИЦА

На Ленинградском проспекте подрались два воробья. Из-за очаровательной воробьихи, симпатичной девушки с проспекта Вернадского. В самом деле, прелесть. Воробьи дерутся, только перья летят. А она прыгает неподалеку и кокетливо говорит:

— Ну что вы, мальчики, прямо как маленькие. Весна только начинается…

На Новослободской мальчик потянул девочку за косу и побежал. Она побежала за ним. Ударила его портфелем. Они бегали друг за другом по улице среди прохожих. В голубом небе замерли большие облака. Солнце радостно билось в стекла домов и автомобилей, на деревьях выглядывали первые листья.

Мужчина был в легкой шляпе, в коротком пальто, лет 45. Обычно такие редко ходят пешком. Мальчик пробегал мимо. Мужчина ударил его ребром ладони в лоб, с большим знанием дела. Мальчик упал. Прохожие ахнули, помогли мальчику подняться.

Девочка закричала. Мужчина шел, не оглядываясь, не замедляя шага. Девочка догнала его.

— Гад, гад! — закричала она.

Мужчина ласково улыбнулся.

— Убью, — тихо сказал он.

Девочка поверила, остановилась…

На Большой Переяславской из-за гаражей вышла дворняга с больной лапой. Было прохладное июньское утро. Собака забежала вперед, остановилась и заглянула мне в глаза.

— Болит? — спросил я.

Собака вильнула хвостом. Густые деревья плотной стеной закрывали жилые дома.

По широкому шоссе прошла поливальная машина, одинокие иномарки давали себе волю. Пешеходов еще не было, только мы с собакой да еще какой-то мужик возле «ракушки» стряхивал с машины ночной мусор.

У перехода мы подождали зеленый и перешли на другую сторону улицы.

— Хорошая погода, — сказал я, должен же я что-то говорить.

Собака снова вильнула хвостом, напрягла уши. Так, болтая о здоровье и о погоде, мы подошли к какому-то переулку.

— Куда дальше? — поинтересовался я.

Я не хотел расставаться с такой спутницей — чтобы рядом и чтобы слушала. Собака думала, что я знаю, «куда дальше», а я не знал. Мы остановились.

— Ну, пока, — сказал я нерешительно.

Собака подождала, не скажу ли я еще чего. Я промолчал. Собака побежала по переулку, припадая на больную ногу, все дальше, дальше и вскоре повернула за угол дома. Летний день начинался тоскливо и одиноко.

— Извини, время не ждет, — сказал я, но собака была уже далеко.

У дверей офиса невозмутимо курил пожилой интеллигентный охранник в черном, с обручальным кольцом. Он слышал разговор человека с собакой.

В июле в городе проходил фестиваль «Золотая маска». Театр юного зрителя из Красноярска привез пьесу «Собаки-якудза».

Герои сюжета в жанре экшен — обычные городские псы.

Кто-то из них бродяжничал с рождения, кого-то на улицу выбросили хозяева, кто-то потерялся — все рано или поздно оказывались в банде, воюющей за свои «собачьи» права. Пьеса о том, как трудно отвоевать право на личную свободу и как непросто жить в большом городе, где каждый день совершается миллион преступлений. Одну собаку я узнал. Она хромала. Металась по сцене от одного пса к другому, ее гнали.

Мы встретились в городе. Собака вспомнила меня. И не подошла…

На Дмитровском шоссе смешались огни уличных фонарей, автомобилей, окон и витрин. Мельтешили снежинки. Был морозный вечер в конце декабря. Старуха доплелась до троллейбусной остановки и с трудом обеими руками поставила на скамейку тяжелую сумку.

Троллейбус долго не приходил. На Останкинской башне, проглядывающей из темноты, зависли огни.

Старуха терпеливо ждала, рассматривая рекламу на остановке — большую стеклянную картину, освещенную изнутри ярким электрическим светом. С рекламы смотрела молодая красивая женщина в летнем платье с яркими цветами и с обнаженными не по погоде плечами. Белая шляпа, тоже с цветами. Какая-то фирма рекламировала эту шляпу, забытую с прошлого сезона. Троллейбуса все не было.

— Безобразие, — ворчала старуха, не спуская глаз с женщины на рекламе. — В таком виде. Кому это интересно?

Подошел и ушел троллейбус. Старуха смотрела на яркую рекламу. Просто смотрела...

Возле станции метро «Динамо», у западного входа, по вечерам играл на скрипке старик. Снег таял в его седой шевелюре, стекал по морщинам щек. Он был в демисезонном пальто с большими пуговицами, тяжелый шарф, завязанный поверх пальто, ботинки на длинных шнурках. Такой вот живописный старик. Он держал скрипку замерзшими пальцами. Прохожие останавливались, слушали, фотографировали, опускали бумажные деньги в футляр с мятой красной подкладкой, лежащий в снегу.

Москва город холодный. Иногда старик заходил в кафе «Спортивное», расположенное под трибунами стадиона. Обхватив ладонями горячую чашку и вдыхая запах крепкого кофе, наслаждался жизнью. Хозяйка кафе велела поиграть для посетителей, только встань вон там. Он уходил в темный угол и играл.

Шаповалов почти втрое старше меня, пора на пенсию.

— Послушаем, — предлагал он, когда мы шли после работы.

Каждый вечер мы останавливались и слушали. Скрипач начал узнавать Шаповалова, играл специально для него, они ровесники. Они никогда не разговаривали, но как-то понимали друг друга.

— Может быть, пешком? — говорил Шаповалов, нам было по пути, я любил его слушать.

Мы шли вдоль Ленинградского проспекта, прошитого, как молнией, на всем протяжении аллеей прекрасных лип, прекрасных в любую погоду.

— Эти липы переживут нас, — сказал он.

Мы шли в сторону «Сокола», и перед нами медленно поднимался каркас строящегося здания Гидропроекта, просвеченный насквозь уходящим солнцем.

Шаповалов боится, что его выгонят с работы. Он руководит группой инженеров, но у него нет диплома.

Если кто-нибудь ошибется, его поправят, — говорил он, — а мне напомнят про диплом, когда-нибудь уволят. В октябре 41-го его призвали с третьего курса и вскоре, для него, полуживого, в шрамах и тоске, война окончилась. Его обожают молодые сотрудницы, зовут Шляпочкин, он решает им сложные инженерные задачи, а еще — школьные задачи для их оболтусов. «Девочка, говорит он, расчет железобетонных конструкций следует производить по методу предельных состояний, включающему…» А еще он рисует смешные картинки, их печатают в газете «Рыболов-спортсмен». С чего он взял, что его собираются выгнать?

Никто не собирается. Однажды, правда, он накричал на главного инженера, женщину решительную и несправедливую. У нее на столе стоял единственный в отделе телефон. Приходилось подзывать сотрудников. «Шаповалов», — позвала она. Увлеченный какими-то расчетами, он не услышал. Кажется, она позвала его несколько раз, а потом закричала: «Шаповалов, вы подойдете, наконец, к телефону?» На этот раз он услышал и, подойдя, тоже закричал: «Что за манера — по фамилии, у меня, кажется, имя-отчество есть». Нет, не выгонят, зря он.

— Это беда, — говорил по дороге Шаповалов. — Но вы не подумайте, неудачником он себя не считает. Вы слышали, как он играет? Скрипка думает о нем. Они постоянно разговаривают. Представляете, как у человека жизнь сложилась? Я не представлял.

Я не сразу врубался: о чем он? Шаповалов всю дорогу думает о скрипаче, даже когда говорит о чем-то другом, а я слушаю и тоже думаю, но — о своем.

— У него любимая скрипка, — снова говорит он. — Они понимают друг друга, а это, скажу вам, большая в жизни редкость. Среди людей почти не встречается. Он зарабатывает деньги, и она помогает ему, как может. Он зарабатывает для нее. Чтобы она спокойно играла в свое удовольствие.

Ну, конечно, одинокий, даже если там где-то жена имеется, все равно одинокий.

Иногда Шаповалов жалуется на жизнь. Сын, говорит, привел дуру, весь вечер висит на телефоне, отпуск дают осенью, работу подсовывают мартышкину, премия курам на смех, да и вообще, только и ждут подходящего случая, чтобы выгнать.

Однажды осенью мы подошли к метро, а скрипача на привычном месте не было, мы заглянули в кафе, хозяйка сказала, что давно не заходит. Он больше не появлялся. В тот вечер мы вошли в метро. Я вышел на «Аэропорте», он поехал дальше — к «Речному вокзалу».

— Где-нибудь стоит на Пятой авеню, — глупо пошутил я. Шаповалов обиделся, значит, я так ничего и не понял, молодой еще.

СМОТРИ, ТАМ ЗАЯЦ

В помещении резкий, душный запах горячего одеколона. Включены обе люстры, сверкая стеклянными подвесками, на стенах горят хрустальные бра, свет заполнил все помещение районной парикмахерской, льется со всех сторон, отражается в больших зеркалах и маленьких ручных зеркальцах, в металлических приборах, флаконах, умывальниках, инструментах, разложенных на мраморных рабочих столах. Море света. Январский день, за окнами мороз, в помещении светло и жарко.

Маленький мальчик, укутанный в простыню, чтобы колючие стрижки не падали за воротник рубашки, зажмуривается, потом быстро открывает глаза, смотрит в зеркало — видит себя и женщину в белом халате, которая стрижет его жужжащей машинкой. Долго еще? Он сидит на доске, проложенной между подлокотниками высокого кресла для взрослых, терпит. Дома он расскажет маме и бабушке, что не плакал. Строгая женщина обходит кресло, внимательно осматривает свою работу, откладывает машинку и берет ножницы.

Она зачем-то глубже за воротник проталкивает края холодной простыни, руки мальчика остались под простыней, он не может смахнуть волосики с ресниц. Быстро-быстро моргает. Мальчик боится сильных пальцев грубой женщины, она поворачивает его голову то в одну, то в другую сторону, подозрительно всматриваясь в зеркало, он боится ее потного злого лица, которое передвигается над его головой в большом зеркале. На ее халате цветными нитками вышиты две какие-то буквы.

В парикмахерской три кресла, два из них свободны. Где-то на шкафу тихо бормочет радио.

Обычно прическу ему поправляет мама, но когда надо сделать аккуратную челку, папа с мальчиком идут в парикмахерскую.

Папа сидит в расстегнутом пальто у большого замерзшего окна на высоком табурете. Он держит одежду мальчика — шубку, шапку, шарфик и читает журнал «Наука и жизнь», который специально захватил из дома. Он говорит, что это его любимый журнал, мальчик тоже любит рассматривать вместе с папой картинки в журнале, особенно зверей и самолеты, папа всегда читает дома этот журнал, даже за ужином, и мама делает ему замечание. Он берет журнал с собой, чтобы почитать в метро. А чего, собственно, в этом помещении освещать с такой невероятной силой, напрасно расходуя электричество, думает папа? Он достает шариковую ручку и на полях журнала делает расчеты. У него получается, что для нормального освещения этого помещения достаточно расходовать в три раза меньше электричества, да и тепло в батареях расходуется явно с избытком. Так думает папа мальчика, но никому ничего не говорит. Он и шахматные задачки в журнале решает просто так, для себя. Папа мальчика хорошо помнит, как в детстве папа приводил его в эту парикмахерскую, он не выносил противного запаха горячего одеколона, не хотел идти, ревел, вырывался, а папа не мог прикрикнуть, ни крепко держать его за руку не умел, чтобы не сделать больно. Потому что папа недавно вернулся с войны и не умел обращаться с ребенком, в первый раз он увидел сына, когда ему было столько же лет, сколько сейчас его мальчику, по дороге в парикмахерскую папа покупал в палатке оловянных солдатиков и конфеты «подушечки», от которых, как говорила мама папы, то есть бабушка мальчика, у ребенка портятся зубы. Самым неприятным для папы мальчика в детстве был запах парикмахерской, этот отвратительный запах до сих пор преследует папу, он, как и его мальчик, ждет, когда же, наконец, закончится неприятная процедура.

Женщина в белом халате сильной ладонью наклоняет голову мальчика, чтобы «поправить» шею. Мальчик упирается. Он хочет смотреть в зеркало. Женщина намучилась с ним.

— Тебя как зовут? — спрашивает она совсем не зло.

— Костик, — говорит мальчик.

— Опусти голову, Костик. Тебе сколько лет?

— Четыре года и три месяца, — говорит мальчик.

Он неохотно опускает голову. При этом он пытается смотреть в зеркало, но женщина сильно удерживает его затылок, ему с ней не справиться. Дома никто так не делает, когда мама или бабушка причесывают его, они тихонько приглаживают волосы, ему так хорошо, что он начинает засыпать. Костик не любит причесываться, но это же мама и бабушка, а тут чужая женщина. Она извелась с ним

— Смотри, там зайчик, — показывает она ножницами куда-то под столик, под ноги мальчика, в дальний темный угол.

Пока Костик, наклонив голову, смотрит вниз, разыскивая под столом зайчика, женщина быстро «поправляет» ему шею.

— Где зайчик? — спрашивает мальчик.

— Вон там, — говорит женщина, не глядя.

— У ящика? — спрашивает мальчик.

— Да, — говорит, не отвлекаясь, женщина, — у ящика.

— С ушами?

— Конечно, с ушами, — женщина торопится.

— Настоящий?

— Самый что ни на есть настоящий.

— Где он? Где? Я не вижу.

Мальчик всматривается в темный угол под столом.

— Я вижу, папа видит, — говорит женщина, продолжая делать свое дело, — а ты не видишь.

— Папа, — спрашивает Костик, — подойди сюда, там зайчик, ты видишь зайчика?

— Зайчика? — переспрашивает папа, соображая.

— Конечно, видит, — подсказывает женщина.

— Где? — спрашивает папа.

— Вон там, — показывает мальчик пальцем, не вынимая руки из-под простыни.

Папа закрывает журнал.

— У ящика? — уточняет папа.

— Вот видишь, — говорит женщина, — папа его увидел.

— Настоящий? — еще раз уточняет папа.

— Какой же еще? — удивляется женщина, как будто зайчики бывают ненастоящие. — Я что, обманывать буду?

— Игрушечный, например, — говорит папа, пытаясь рассмотреть под столом зайца.

Женщина заканчивает стрижку, ножницы, звякнув, ложатся на мраморный стол, она снимает с мальчика простыню, стряхивая волосы на пол, кисточкой щекотно смахивает стрижки с голой шеи мальчика. В ее руках еще раз чирикают ножницы, она поправляет челку. Мальчик жмурится, ему неприятно. Мягкой щеточкой женщина стряхивает волосики с щек, лба, ресниц мальчика. Затем происходит самое неприятное — она нажимает на резиновую розовую грушу и в лицо мальчика летит струя одеколона, лицо становится мокрым. Противный, невыносимый запах расплывается по всему помещению.

Стрижки, попавшие за шиворот, укалывают, как иголки. Мальчик спускается с кресла, смотрит под стол, там темно.

Вдруг мальчик кричит:

— Вот он, вот он, видишь, папа? У него уши, как ножницы. Видишь?

Папа встает с табурета, укладывает одежду мальчика. Шарфик соскальзывает на пол. Папа поднимает его, продолжая искать глазами зайца, поправляет съехавшие на нос очки. Он обходит кресло, на котором сидел сын.

— Где же? — растерянно спрашивает папа, заглядывая под стол, под умывальник. — Я что-то не вижу.

— Спасибо, — говорит мальчик, как его учили дома.

— Скажи «до свиданья», — напоминает папа, расплачиваясь.

— До свиданья, — послушно говорит Костик.

Папа одевает сына, застегивает пальто и завязывает шарфик, отчего мальчик опять чувствует колючки стрижек, но знает: надо терпеть. Перед уходом папа медлит, еще раз заглядывает в зал. Женщина ушла в подсобное помещение. Пока никого нет, папа проходит в зал, отодвигает в сторону тяжелое кресло, смотрит под стол, под умывальник, заглядывает за соседние кресла. Парикмахерша возвращается с щеткой на длинной палке, чтобы подмести пол, спрашивает:

— Вы что-то потеряли?

— Нет, нет, мы уходим… — нерешительно говорит папа мальчика. — Знаете, если честно, я почему-то так и не могу увидеть зайца. Где же он?

— Убежал, наверно, — говорит женщина совершенно серьезно.

ЗАПАСНЫЙ ПУТЬ

«Центр социальной адаптации» расположен в здании бывшего детского сада. Учреждение предназначено для приюта людей, попавших, что называется, в трудную жизненную ситуацию, оказавшихся без определенного места жительства — бомжей. В учреждении около 90 человек — мужчин и женщин. И всем им плохо, они напуганы жизнью, у каждого — свое прошлое, у некоторых особенно тяжелое, потому что было красивым и счастливым. Прохаживаются по дорожкам территории среди деревьев, обедают в общей столовой за стеклом, после обеда играют на скамейках в шашки или у телевизора сидят, думают — больше делать им нечего.

Раньше Анатолий Сергеевич был человеком успешным, рисковал, скупал валюту, а потом и земельные участки, торговал оружием, «пробивал» мифические проекты. И всегда выходил сухим из воды. У него была надежная «крыша» в верхах, не последний человек в области, вместе на кабанов с вертолета охотились. Следователь по особо важным делам, возглавлявший следственно-оперативную группу, неожиданно принимал решение прекратить резонансное дело за отсутствием состава преступления и заявил: Анатолий Прошкин стал жертвой крупномасштабной провокации, подстроенной спецслужбами. В прокуратуре разразился грандиозный скандал, раздутый прессой. Однако Прошкин в это время затерялся где-то за океаном. Его ассистентка, девушка смелая и умная, работала рядом с ним, все время была под рукой. Вместе и скрывались. Впрочем, их и не особенно искали. Один их бизнес был связан с черной икрой, которая, оказывается, весьма востребована в дальних странах. Их арестовали, но через два года вернули на родину, а там опять неожиданно простили. Теперь он решил заняться по-настоящему крупным делом. В аптечном ящике своей «Нивы» он пытался перевезти через российско-финляндскую границу три ампулы с осмием-187 — редким и очень дорогим металлом платиновой группы. Содержимое трех маленьких ампул оценивалось без малого в полмиллиарда рублей. Он решил развернуть производство редкого вещества в количествах, которые позволили бы родному городу получать дополнительные средства. Было возбуждено уголовное дело. А «крыша» больше не крышевала, там были свои проблемы, масштабные.

Из протокола показаний Прошкина: «Я… предпринимал шаги к тому, чтобы в интересах городского хозяйства развернуть производство редкого вещества в количествах, которые позволили бы получить городу дополнительные средства для решения множества проблем, в том числе и продовольственных». Да, один. Нет, больше никто. Не знаком. Не встречал. Не

слышал… На сотрудничество со следствием он не пошел. Его посадили надолго. Несчастную девушку почему-то отпустили. Она пропала в море житейском — сразу и навсегда.

Через десять лет Прошкин со страхом понял, что сильно постарел, а через семнадцать выполз на свободу полной развалиной, в другую страну. Идти ему было некуда, имущество конфисковано, дом снесен. Остается — «Центр социальной адаптации», из князи — в грязи.

Уполномоченный, женщина энергичная в строгом сером костюме, прошла по территории, взглянула и сказала, что права человека здесь явно нарушены. Нельзя, сказала она, перевозить людей зимой в неподготовленное помещение. Но коль уж так случилось, теперь персонал должен проявить максимум участия к проживающим. Второе: нужно срочно заканчивать ремонт, на проведение которого в краевом бюджете предусмотрено, если не ошибаюсь, пять миллионов. Ремонт должен быть проведен с соблюдением проектных условий для такого рода учреждений, в частности необходимо предусмотреть отдельные входные группы, для колясочников сделать пандусы. А до завершения ремонта приостановить прием новых бездомных. В общем, все правильно сказала. И уехала. Прошкин стоял неподалеку, слушал слова из какой-то далекой, прошлой, жизни и не мог дышать от волнения, вспоминал свой пафос, который позволял манипулировать толпой и приносил ему приличный доход.

Поздней осенью в туалетной кабине пассажирского поезда Челябинск — Верхний Уфалей был обнаружен труп старика с петлей на шее. У сотрудников Южно-Уральского УВД на транспорте только одна версия происшедшего — добровольный уход из жизни. О насильственной смерти говорить не приходится, поскольку кабина туалета была заперта изнутри.

По маршруту следования поезда мужчина привлек внимание пассажиров и проводников своим неопрятным внешним видом и дурным запахом. Вспомнили, что в вагонах он промышлял сбором бутылок. Тем не менее билет на поезд у него имелся.

Обнаружила самоубийцу проводница. После того как состав был отогнан на запасные пути, она, осматривая вагон, не смогла открыть дверь в туалет. Женщине пришлось использовать служебные ключи.

Сотрудники ЮУ УВДТ обнаружили в кармане у мужчины обрывок какого-то документа, разобрали, что мужчине было 75 лет, больше ничего.

МАРИЯ РЯБОЧЕНКО

ГЛУПОЙ

«И когда ж она заткнется? Сама пигалица, сморчок недоношенный, а храпит, как мужик...»

Валентина вот уже три часа ворочалась с боку на бок. В последнее время сон почти не шел к ней. Не помогали ни валерианка, ни сто грамм водочки перед сном. Рядом, по-мальчишески обхватив подушку руками, тяжело дышал во сне муж. В соседней комнате сотрясала стены «сморчок недоношенный», которая не только храпела, но и водочку жрала, как здоровый мужик.

Уже полтора года она сидела на их шее. Появилась — как с неба упала. Да нет, какое — с неба? Черти, не иначе, ее принесли. Как-то сидели они с мужем, ужинали — звонок в дверь. Отец — так она много лет называла мужа, — удивленно вскинув брови на жену, пошел открывать. На пороге стояла худющая, то ли оборванная, то ли до крайности неухоженная, будто из «бомжовки», девица, с сумкой через плечо. Даже не сказав «Здрасьте», шагнула через порог:

— Я от Сергея.

Когда они с отцом обрели дар речи да смогли что-то выспросить, открылось, что она вроде невесты их сыну, и прислал он ее сюда на житье, его дожидаться. Через несколько дней получили и письмо от сына с наказом любить и жаловать.

После этого письма они с отцом будто съежились душой и, даже не обсуждая, молчком, но дружно переселили «сморчка» в большую комнату с балконом, а сами поселились в маленькой, сыновней. Одели-обули, первой подавали тарелку с лучшим куском, первой наливали водочку в рюмочку…

«Сморчку» было двадцать с копейками, окончила девять классов, училась на повара, не доучилась, работать никогда не работала, о родителях, как ни расспрашивали, отмалчивалась… За полтора года ни разу не подошла к

плите, раковине с посудой, к стиральной машине, не взяла в руки веник… Целыми днями лежала на диване, спала или смотрела в ящик. Однажды Валентина даже не выдержала — разозлилась и сказала в сердцах:

— Может, работать куда устроишься? Или хотя бы учиться? У нас с отцом шеи не казенные…

«Сморчок» и ухом не повела, и с дивана не встала. Но примерно через месяц получили приказ: «Мать, ты ее не трожь. Пускай дома сидит, не шляется без меня. Скоро приеду, женюсь».

У Валентины сегодня опять жгло в груди. Эти ужасные боли давно стали приходить к ней — сначала на миг, потом на минуточку. Но она никогда не признавала ни врачей, ни лекарств, ходила в поликлинику по крайности. И простуду, и головную боль, и зубы лечила народными средствами, в основном — водочкой. Правда, водочка давно не помогала — не только от бессонницы, головы и от этой грудной боли, но и от страшной тоски, которая в последнее время поселилась в душе.

Думать, размышлять — это вообще было не ее. Конечно, как и любого человека, Валентину каждый день посещали мысли, но были они какими-то короткими и прямыми, как в школьных простых задачках — отрезками от точки А до точки Б: где достать кусок мяса получше, как приготовить, как постирать белье так, чтоб хрустело от крахмала… Окончания задачи было и концом мысли — из года в год, изо дня в день…

В сущности, Валентина была неплохой — простой и даже доброй, во всяком случае, ни подлостей, ни зла никому не делала. Родом из подмосковной захудалой деревеньки, из простой семьи, сама выбилась в люди. После десятилетки стала ездить в ближайший районный центр на работу — секретаршей в горкоме партии. Проработала больше десяти лет. Не только научилась печатать, отвечать четко на звонки, подносить вовремя чай, но и вступила в партию. И даже получила двухкомнатную квартирку в этом же городе. Ко времени получения собственной жилплощади была уже год как замужней дамой. Муж, ее ровесник, простой и беззлобный человек, работал на заводе. Жену свою любил — как мог, как понимал: не обижал, таскал картошку с рынка, а по вечерам любил крепко обнять… Родив, полтора года просидела дома с мальцом, а потом в горком, на ежедневную работу, уже не пошла, а устроилась в редакцию областной газеты — на график через день. В рабочие дни с мальцом сидела ее мать, а в выходные справлялась сама.

Воспитывала мальца как умела, как понимала: кормила, мыла, выгуливала, шлепала за шкоду. Сама всю жизнь прожившая без любимых книг, и даже в родной газете читающая только заголовки и прогноз погоды, и

мальцу в руки книжки ни разу не дала, рисовать, лепить тоже особо не разрешала — не любила грязи на столе, на стенах. Из развлечений были у мальца на улице — мяч, в доме — телевизор. Так и рос — как сорняк в хрустальном горшке.

А у нее и впрямь все в доме сверкало хрусталем. Чистота была ее единственной страстью. Все свободное время она проводила в трудах – мыла, чистила, стирала… Делала то, что другой хозяйке и в голову бы не пришло — после каждого дождя начисто, до блеска протирала окна, каждый месяц стирала занавески, ни пылинке, ни жиринке не позволяла осесть в родных стенах. Все сверкало, дышало чистотой — и плита, и раковины, и пол, и окна, не то что в родительском доме, где и мебель, и сами стены были черны от старости. Нет, она жила совсем по-другому. Все детство и юность ей по выходным клали на хлеб, как самый большой подарок, кусок вареной колбасы из вонючего сельпо. Теперь же она кушала как царица. Несмотря на скудость советских прилавков, на столе у нее даже по будням бывали и икра, и нежнейшая вырезка, и золотистый балык, и длинные парниковые огурцы, и даже ананасы — круглый год. Доставалось все в буфетах — сначала горкомовском, потом редакционном. У нее уже давно стало правилом начинать рабочий день с похода в буфет. Буфетчицы, такие же незатейливые тетки, встречали ее тепло. Посудачив о житейском минут пять, она убегала на рабочее место, оставив наказ припасти к вечеру то батончик колбасы, то триста грамм рыбки, то глазированных сырков…

Редкая трапеза у них с отцом проходила без водочки или портвейна. Пили не ради пьянства, а так — сто грамм ради аппетита. Прижилась у нее эта традиция и на работе — в редакционном коллективе половина мужичков были крепкими выпивохами. В брежневские времена нищеты и тотального вранья было это делом обычным — ну как написать о рекордных удоях молока или перевыполнении пятилетки, не залив совесть бутылкой красненького? А она себе нашла подружку — на пару лет помоложе, интеллигентную, корреспондентку… Вначале выпивали только по праздникам, да в субботние дежурные дни, а потом разбаловались, стали пить и среди недели. Было для них каким-то особым кайфом, своеобразным адреналином — зайти среди бела дня под носом у трех редакторов в крошечную метровую кладовку за секретарским столом, махнуть стаканчик портвейна, а потом как ни в чем не бывало закусывать салатом из свеклы с чесноком, догрызать рыбную голову, оставшуюся от ужина. Настроение становилось легким, веселым, и казалось им, что никто вокруг ничего не видит, не понимает.

Валентина, несмотря на простую кровь, была очень привлекательной — высокая, грудастая, с правильными тонкими чертами лица, копной пепельных, разбавленных ранней сединой волос… После обеда сидела с румянцем, блеском в голубых глазах, и местные ловеласы не упускали случая в такие минуты пообжиматься, запустить руку в вырез свитерка…

— Ох ты, проказник! — отбивалась она от нахалов. — Что ж ты озорничаешь! Да пошел ты… — не стеснялась послать матерком.

— Я и своему-то даю раз в месяц, по обещанию, — оборачивалась она к подружке. — А ему хоть каждый день! Я к нему в спальню не иду, с малым сплю, так он лезет — придет, хватает, шарит под рубашкой… У меня пошаришь, на три буквы пошаришь!..

Почему она так себя вела, Валентина объяснить ни подружке, ни даже себе не могла. Был ей муж вроде бы по-человечески люб, а вот супружеские претензии она считала срамом. Да и мать ее, сколько себя помнит, спала с отцом, тихим алкоголиком, на разных кроватях, а когда тот начинал «шарить» — отбивалась как могла…

А малому ее было уже лет пять.

— Ну, ты чего? Разве можно с сыном до таких лет спать? Да еще с мужем разбираться? А вдруг проснется — что у ребенка в голове-то будет? — пыталась вразумить ее подруга.

— Да ну тебя! — отмахивалась Валентина от чужих советов. — Ничего не будет. Он у меня еще глупой, малец, ничего не понимает…

О том, что малец глупой, стала намекать ей и учительница с первого же класса. Каждый месяц вызывала на беседы — то ее, то отца. Ничего их мальцу не лезло в голову — ни письмо, ни чтение, ни арифметика… И стараний к учебе не было. Сначала отец сидел с сыном, решал задачки, а потом и он махнул рукой… А она подошла к проблеме с тыла: раз в месяц, а особо по праздникам собирала две сумки лучшей снеди и от чистого сердца приносила в школу. Учительница все брала с благодарностью — и к глупому почти не приставала. Когда прибавилось у глупого учителей, прибавилось и сумок…

Годы шли как по писаному — и на работе, и дома. Менялся только малой, из мальца по велению природы превращаясь в подростка…

И когда, опрокинув стаканчик и отбившись от похотливых сослуживцев, она, как по сценарию, заводила старый разговор, подружка, по-своему любившая ее, уже от страха закатывала глаза.

— Ну, ты подумай, Валюша! Парню четырнадцатый год, а ты с ним в одной постели спишь! Да поставь ты себе отдельный диван, раз не хочешь идти к мужу…

— Вот еще, буду я залу лишней мебелью портить! Ничего он не понимает, глупой еще!

И невдомек ей было, что глупой уже давно не засыпает до тех пор, пока отец не придет и не начнет жарко шарить по материнской груди, а она будет сначала тихо, а потом все больше отбиваться и материться… В эти минуты родительской борьбы у него приятно щекочет что-то внутри, а иногда наступает и ни с чем не сравнимый кайф.

И только когда после очередной неудачной попытки мужа малец, глупой жадно, бесстыдно, задрав ночную рубашку, засунул руку между ее ног, Валентина вскочила, надавала сыну по рукам, крепко приложила трехэтажным и ушла все-таки на супружескую кровать.

Еле-еле дотянул глупой до конца восьмого класса, пошел в ПТУ на слесаря, бросил, в восемнадцать попал в армию, в двадцать вернулся… Устроили его, не без помощи волшебных сумок, доучиваться в то же училище. Не прошло и полгода, как пришлось играть свадьбу — обрюхатил-таки глупой, да не кого-нибудь, а еще семнадцатилетнюю. Когда стал закипать скандал, Валентина, по обычаю, зашла с тыла: сколько уж сумок переносила, столько унижалась… И дело замяли, закончили свадьбой. А невеста попалась на славу — маленькая, хорошенькая, как принцесса, умненькая, ласковая. Были они с глупым прекрасной парой — тот вырос на удивление красивым парнем. Жили молодые с родителями принцессы, растили сынка. Но не прошло и года, как стала принцесса плакать в подушку — приходил иногда молодой муж за полночь, наполнял спаленку запахом спиртного, сынка не нянчил…

— Да ты потерпи, у всех по первости так, глупой же еще, не нагулялся с дружками, — уговаривала ее свекровь.

Сколько же жизней рухнуло в ту ночь, когда в дом сватов нагрянула милиция, глупого подняли с постели, увезли чуть ли не в трусах…

Когда Валентина наутро помчалась в участок, узнала правду, ее трясло так, что несколько раз зубами прищелкивала язык. Сначала ничему не поверила. Думала, ошиблись, разберутся… Но чем дальше разбиралось дело, тем больше улик было против глупого. Она не выдержала, собрала копии документов, забыв о стыде, кинулась за помощью к редакционному адвокату — у него связи, за любые деньги… Тот через неделю вернул бумаги.

— Не обижайся, но не смогу помочь, — поморщился он. — Слишком все плохо, такое не замнешь… Не обижайся.

Когда слушалось дело в зале суда, принцесса, от которой поначалу — как могли — скрывали правду, вдруг с диким криком, в слезах кинулась к двери. Валентина же сидела не подымая глаз, глядя в расплывающийся перед глазами истоптанный паркет. Что-то заморозилось в те дни у нее в душе, да так, что она никак не воспринимала ужас сотворенного ее глупым, только

страшно боялась за него — что-то будет теперь с ним, выживет ли? А дали ему пятнадцать лет строгого режима, его двум несовершеннолетним дружкам — меньший срок.

Принцесса уже на следующий день подала на развод. И с тех пор ни ее, ни пухленького внучка они с отцом не видели. Она, как и встарь, обрывала руки от увесистых сумок. Сваты сумки — для внучка — принимали, а на порог не пускали. Особенно убивался муж, который и невестку полюбил как родную дочь, и к внучку привязался без памяти — готов был часами целовать его в розовые щечки. Видя слезы на глазах, сваты все же пару раз показали внучка в окно. А через пару лет принцесса вышла замуж да уехала подальше от родного города. А еще через год и сваты, заметая последние следы, продали квартиру и подались вслед за дочерью.

Беда не приходит одна. Шли уже перестроечные годы. В родной редакции менялась начальство, и если старый редактор сквозь пальцы смотрел на ее красный после обеда нос, то новый уже через неделю уволил престарелую и не англоговорящую секретаршу — не глядя даже на то, что до пенсии ей оставалось всего два годка.

А ей-то как нужны были деньги! Как только глупого повезли по этапу, Валентина с ног сбилась, узнала все, что смогла, и опять начала атаку с тыла. Одна за другой полетели в отдаленные места посылки с самыми лучшими деликатесами. Поначалу свидания давали редко, но она приезжала за тысячи километров даже не к сыну — одаривала коробками икры, батонами колбасы все начальство, всю охрану. Еще работая на старой работе, устроилась на одну новенькую американскую фирму. Работала за двоих — убирала офис, готовила… Муж, который к этому времени уже потерял место на развалившемся заводе, помогал тянуть лямку — таскал кошелки с рынка, возил по офисным коридорам пылесос. Когда ее уволили из редакции, бросилась чуть ли в ноги к начальнику-американцу, и тот, уже давно отметив трудоспособность, чистоплотность и исключительную честность этой русской бабы, взял ее и в дом — убирать, стирать, гладить, готовить…

Все, все денежки, до последней копейки уходили на деликатесный паек глупому, его корешам, нужным людям… И благодаря этому неиссякаемому источнику даже в нечеловеческих условиях жил глупой как король. «У меня все хорошо, мать… — писал он в письмах. — Пришли скорее посылку по списку».

В эти последние бессонные ночи вдруг стала являться к ней в памяти та бедная женщина, мать юной девчушки, которую — нет, не убил, а просто до смерти замучил ее глупой. Тогда, в зале суда, Валентина боялась смотреть

ей в лицо. Видела только, как тихо заводили ее в зал под руки муж и мать, как сидела она не шелохнувшись, не издав ни звука, вся в черном, вся седая, старуха, а ей не было еще и сорока. Только сейчас, испытывая иногда страшный огонь в груди, Валентина поняла, в каком нечеловеческом страдании проводила эта женщина свою жизнь.

За эти долгие годы она уже даже перестала бояться за жизнь глупого. На смену этому материнскому страху пришел другой страх — она больше смерти боялась возвращения сына. Ни в одном его письме не почувствовала ни жалости к ним, родителям, ни тоски по утерянной семье, ни раскаяния в содеянном. Нет, ни на граммочку не поумнел глупой. И приезд «сморчка», которая оказалась сестрой его тюремного кореша, только подтверждал эти ее смутные догадки. И еще одна страшная догадка, от которой, как ни старалась, уже не могла отмахнуться Валентина, дикой болью крутила нутро: ее сын, малец, глупой — преступник, насильник, чудовище… И хотя они никогда не говорили об этом, но боялся возвращения глупого и отец. Как же он постарел, съежился за эти годы. Да и она — совсем поседела, посерела лицом, согнулась спиной… Господи, только бы можно было вернуться назад…

Опять страшная боль будто вздыбила на груди ночную рубашку. Страшно хотелось пить. Она еле добрела до кухни…

Муж, прибежавший на грохот опрокинутых табуреток, в первое мгновение даже позавидовал ей.

ЕВГЕНИЯ ШАПИРО

О МОРЕ, СЧАСТЬЕ И ЛЮБВИ

Счастье — оно каждый раз разное. Потому что живое. И у каждого своё.

Порыв ветра, желая всё переиначить, спутал верхушки деревьев и убежал. Толкнул меня, взъерошил волосы и понёсся дальше. На миг прикрыла глаза от несущегося песка. Лишь миг.

А ветер уже взбудоражил море. То насмешливо фыркнуло мелкой рябью и, дразня небо, отразило упавшие лучи — бликами. Море из голубого стало золотым. Небеса оторопели от тысяч солнц, возвращённых ему, и растворились до полупрозрачности.

Шум прибоя влился в тишину, и та завибрировала. Солнце нежно целовало меня, а ветер вдруг присмирел и обнял. Звенящая капелька радости поселилась в моём сердце. Невозможно всё это пережить одной — надо срочно с кем-то поделиться. Домой.

Дома все спали. Села в глубокое кожаное кресло у окна. Видишь всё то же: море, деревья, небо, но без звуков их дыхания — нет родства с первозданностью. Переполненная любовью, я никак не могла успокоиться.

А в соседнем кресле мирно дремал пушистый дымчатый кот.

— Маркиз. Иди ко мне.

Но он даже усом не повёл, словно и не слышит. Бесчувственный. Совсем моей любви не желает. Но одной пережить окутавшее счастье — не по силам.

Забрала из соседнего кресла мягкий клубок спящего кота, переложила себе на колени. А он ни глаза не открыл, ни усом не повёл, одно слово — Маркиз. На кого же мне любовь излить?

Кот, словно почувствовав моё состояние, приоткрыл глаза и искоса посмотрел на меня. Громко мурлыкнул, приподнял голову и подсунул её под мою ладонь, можешь погладить.

Рука скользит по густой шерсти, и я вдруг понимаю, почему люди когда-то её сбросили — желали полнее ощутить ласку любимого, чтобы насладиться краткой близостью. Почему краткой? Слишком много времени работа да суета занимают, поглощают и время, и нас, порой и целиком. А жизнь — она вообще короткая.

Маркиз мурлычет.

А я вдруг ощущаю, как ладонь любимого нежно касается моих волос. Замираю от счастья, неожиданно уподобляюсь Маркизу и издаю: «Мурр».

МАША ШИ
(Мария Шипошина)

СЛОВЕСНЫЕ НАБРОСКИ НА КОНЦЕРТЕ

Краткое предисловие.

Мне посчастливилось бесплатно посетить концерт одного замечательного джазового пианиста родом из Израиля — Ярона Эрмана. Человек, раздобывший для меня билет, советовал в процессе прослушивания музыки записывать всё, что приходит в голову. Импрессионизма ради или ещё чего — не знаю. Осталось для меня загадкой. Но опыт интересный.

Всего композиций было четыре крупных, с того момента, как я вошла в зал. Каждый текст под тремя звёздочками относится к каждой отдельно. Порядок выстроен от первой к последней.

* * *

Опоздала. По настоянию портье вхожу с аплодисментами. Как будто они мне. Вспоминается стёб школьных учителей по поводу мании величия — всю свою жизнь опаздываю везде. Мания величия заключается в большом желании входящего обращать на себя внимание сидящих.

Нет, не мания. Я просто собираться не умею быстро.

Ярус, но всё-таки Аарон.

Уронила номерок!!! Слишком громко упал и долго стучал боками по полу. То одним, то другим. То одним, то другим. Чувствую стрелы глаз на своей спине: нарушила гармонию.

Начинается.

Как будто меня ждал.

Сажусь. И тотчас рассказывает музыкой: красиво будет не вот-вот, а уже. Сейчас. Танцуй. Нет — нельзя. Ты же в Рахманиновском зале.

Хочу заплакать.

Скорость трогательности звука равна...

Ноги бесятся под стулом отдельно. Танцевать здесь нельзя. А жаль! Хотя нигде не написано, что запрещается...

Восточные мотивы.

Я теряю волю и силы выражаться словесно. А уж в особенности метафорически. Что от меня хотел этот руководитель?

Источник музыки привлекает кобру.

Кобра высовывается из шляпы и думает: «Клавиши рулят!»

Повеяло морским вечерним воздухом, и… Всё успокоилось.

В ресторане высокого класса роскошные женщины пьют дорогое вино из бокалов. Смеются в обществе таких же роскошных мужчин.

Рядом — берег. Но — отдельно.

Всё пройдёт. Никто этого не помнит.

Мамы женщин стары.

Женщины постареют...

Бытие циклично.

А мне — тепло. Спасибо.

Сыто, мирно. Даже освещение тёплое.

* * *

Стеклянно. Прозрачная музыка. Разбивается хрустальный бокал, брызги в волне бьются о её саму.

Смена ракурса — вода с высоты большая-большая. Оказывается тёмной и как бы предупреждает: «со мной не шути».

Лодка исчезает на горизонте. Ещё чуть-чуть — и истает.

Глубина далека. Даль глубока.

Ты абсолютно один. Несмотря на то, что там, в стороне, все чего-то бегают.

Молчишь, но слышно каждую мысль.

Вода везде. Город неизвестной величины. Капли маленькие, но звонкие.

Камера бесконечно и бессмысленно записывает всё происходящее.

...до глубокой ночи, когда на улицах становится пусто. И далее.

Бесконечно и бессмысленно записывает всё происходящее.

Пока ей не надоест и она не бросит это, как истерическая женщина бросает посуду и уходит, хлопнув дверью. Но она не бросит.

Помехи.

Камера бесконечно и бессмысленно записывает всё происходящее.

...а я — делом занимаюсь? Да не.

Видно, куда бы ни пряталась. Куда бы ни бежала. Бегу — меня видят. Присяду отдохнуть — видят. А часики-то тикают…

Страшно одному.

Кап.

* * *

Неизбежно какое-то событие.

Как будто кто-то ждёт дуэли и не спит в свою, возможно последнюю, ночь.

Темнота трещит от насыщенности собой.

Подводная лодка опускается на дно океана. Экипаж замер в ожидании.

Дряхлый лифт ползёт по шахте неизвестной величины. Механизмы скрипят. Наверное, это его последний маршрут — сейчас всё развалится прямо между этажами.

Костяшки чьих-то пальцев стучат по перилам.

Струна готова разорваться.

Что-то почти умерло, но ещё живёт и… Смеётся. Пытается жить. Рассказывает анекдоты. Окружающие хлопают. Треск. Смешная история. Непринужденное общение. Треск.

Сумасшедший танец в одинокой комнате. Резкие движения рук, резкие повороты головы. Пальцы ног бьют землю изо всех сил. Смех. Отражение в зеркале показывает энергичного, полного сил человека.

Осталось дня два… Часа два?

Рухнуло.

* * *

Сидят два пенсионера спиной к наблюдателю.

Одни.

Законченность какого-то события. Штиль после бури. Редкие солнечные блики.

Упал табурет. Упал комод. Посыпались доски. Скосилась крыша. Разлетелись фотографии.

Лицо было молодо и красиво.

МАРИЯ РОМАНУШКО

«БОРИС СУДАРОВ: ЧЕЛОВЕК, ПРОШЕДШИЙ ЧЕРЕЗ ЭПИЦЕНТР АТОМНОГО ВЗРЫВА. ВСТРЕЧИ НА БЕРЕГУ: ДИАЛОГ-ПУТЕШЕСТВИЕ»

(отрывок из повести)

18 ноября, день прозрения

На следующий день, проснувшись, я мучительно думала о том: что же это за такая странная дружба у нас с Сударовым получается? Я боялась ему звонить. Я думала, он скажет: «Надоели мне ваши выволочки, ваши крики, разве это дружба?»

И впрямь — разве это дружба? Если мы такие разные. В книге про Сашу Милитова я написала о том, что дружба хороша тем, что дружишь с тем, с кем хочешь дружить — если он тебя понимает, если он с тобой совпадает по многим параметрам мировоззрения, по вкусам, по интересам. А если не совпадает, если тебе с человеком как-то не так — то ты с ним просто не дружишь. Вот и всё. И этим как раз дружба и хороша.

Буквально на днях была на собрании в своём Союзе литераторов, и меня там спросили, над чем я сейчас работаю. И я сказала: «Пишу ещё одну книгу о дружбе. Дружба — это моя любимая тема».

* * *

И вдруг, в это серое, хмурое, промозглое утро 18 ноября, у меня внутри открылось какое-то окошко… Чик — и открылось! Муж говорит: «Это называется «инсайт», неожиданное прозрение».

И мне всё стало ясно.

То, что у нас с Сударовым — это не ещё одна моя дружба, дружб у меня в жизни было много. Я умею дружить с людьми родственными, близкими по духу. Это каждый умеет. Это — легко.

А то, что у меня с Сударовым, — это УРОК. Может быть, самый главный и самый трудный. Урок под названием… нет, не «Дружба». Этот предмет я уже сдала многократно, сдала на «отлично». А урок сегодняшний — иной. Сегодняшний урок — под названием «Возлюби ближнего, как самого себя». Первая заповедь. Возлюби ближнего — такого, какой он есть. Не переделывая его под себя. Возлюби другого — без претензий, не укоряя, не возмущаясь тем, что он такой, какой он есть. Ты же сама мечтала об этом — о том, чтобы кто-то принимал тебя такой, какая ты есть. И человек, которого ты встретила на берегу, сказал тебе: «Считай, что твоя мечта сбылась». А ты сама, ты? Посмотри на себя, прислушайся к своему крику, — говорю я себе.

Первая заповедь, наиглавнейшая, которую я нарушаю на каждом шагу. Чуть что не по мне — и я тут же кричу и машу руками… А если и не кричу и не машу, то осуждаю молча. Так кто из нас двоих больше верующий? Я — или человек, который называет себя атеистом? Но при этом он ни о ком не сказал худого слова. За четыре месяца, что мы с ним общаемся, я не услышала от него ни одного осуждающего, насмешливого или критического слова. О ком-либо. Даже о тех, кто вроде их заслуживает. Ни о ком — ни одного осуждающего слова. Так кто из нас двоих лучше исполняет первую заповедь?

Когда я вчера кричала там, у него на кухне, и махала руками, я вдруг подумала, что вот так начинаются войны… Я подумала, что если миллион людей будут орать и махать руками на других, не согласных с ними, — то вот это уже и война. Именно это вокруг в мире и творится повсеместно. И Сирия, и Донбасс… А я, выходит, подливаю масло в огонь…

Боже, прости меня!

* * *

И тут как раз в тему, на глаза попались слова афонского монаха — старца Паисия Святогорца:

«Если человек не начнёт работать над собой, то дьявол найдёт ему другую работу — выискивать недостатки у других».

Борис Иванович, простите меня!

* * *

Мне показалось, что вчерашних моих извинений совершенно недостаточно. Я подумала, что, может, Сударов сказал мне «прощаю» по доброте душевной, а внутри себя обижается на меня. И может, нашей дружбе, вообще, уже пришёл конец?!

Я набрала номер его телефона и сказала:

— Борис Иванович, простите меня.

— Да за что тебя прощать, деточка? Ты умная, добрая, очень хорошая… Доедал за завтраком клёцки, которые ты мне принесла, спасибо, очень вкусно.

(Ну, зачем, зачем он мне говорит такие хорошие слова после вчерашнего?)

— Борис Иванович, пойдёмте сегодня вместе на почту? Вам что-то надо было там получить? Мне тоже.

— Пойдём, дружочек.

На почте и по дороге с почты

Мы сидели на почте в долгой очереди, наблюдая разнообразную жизнь людей, как когда-то летом сидели на лавочке у волейбольной площадки на пляже, наблюдая игру…

— Борис Иванович, помните лето, пляж, волейбольную площадку? И как мы сидим там на лавочке, смотрим игру и общаемся…

— Помню, дружочек.

При этом он крепко сжимает мою руку, так крепко, что мне даже больно, — точно так я сжимала его руку, когда мы ехали 1 августа из травмопункта после операции. И тогда я сжимала его руку до боли, чтобы переключить его внимание с реальной боли на другое. И вот сейчас, когда он до боли сжимал мою руку, я почувствовала, что боль и стыд в моём сердце постепенно рассасываются… и мне становится легче дышать.

По дороге с почты. Идём к нему, на его кухоньку пить чай, в сумке у меня целое блюдо вкусных гренок. Я уже приносила Борису Ивановичу на днях гренки, и ему очень понравились. Он сказал, что ещё никогда не ел жареный хлеб и не знал, что это так вкусно.

— Борис Иванович…

— Да, мой друг.

— Вы действительно не обижаетесь на меня? Я всё никак не могу в это поверить.

— Да за что мне на вас обижаться? — недоумевает он.

— За мою… повышенную эмоциональность.

Он смеётся:

— Это лучше, чем если бы ты была соней.

— На соню я точно не похожа!

Он смеётся. И я с облегчением смеюсь вместе с ним.

— Борис Иванович, вы меня многому научили за эти четыре месяца. Через четыре дня будет четыре месяца, как мы общаемся с вами.

— Дружим, — уточнил он.

— Да, дружим. И я многому научилась у вас. Точнее — учусь. Потому что этому нельзя научиться раз — и навсегда, как езде на велосипеде. Почему-то этому приходится учиться каждый день. Вновь и вновь.

— Чему, мой друг?

— Принятию другого человека. Таким, какой он есть. У вас это свойство, видимо, врождённое. Может, от ваших родителей оно вам досталось или от бабушки, которая пекла хлеб… А мне приходится этому учиться. Каждый день…

— Да, моя бабушка Аня и мои родители были очень добрыми людьми. Наверное, от них что-то в моём характере. Я не могу назвать никого из моих врагов. У меня их не было. У меня со всеми были добрые отношения.

— Вы — счастливый человек.

* * *

Когда я рассказала об этом Антону, сын сказал: «Поэтому Сударов и дожил в добром здравии до таких лет. Потому что он ко всем относится хорошо. Добрые люди живут долго…»

* * *

— Борис Иванович, я тут подсчитала… Приблизительно, конечно, подсчитала, потому что шагомер я стала брать не с первого дня на наши прогулки, а порой забывала его включать. Но приблизительный подсчёт вот такой: 800 тысяч шагов мы прошагали за эти четыре месяца!

— Подумать только! А километров?

— А километров, по скромным подсчётам, 500.

— Не может быть!

— Ну, как не может, если это так? А сколько слов мы сказали за время наших прогулок!.. Если бы я записала тут все наши разговоры, то получился бы десятитомник! Подзаголовок у этой книги может быть такой: «Шаги и разговоры». Или: «Шаги и слова». Или: «800 тысяч шагов, 500 километров и миллион слов».

Он смеётся.

— Причём хороших слов! — уточняет он.

— Миллион хороших слов. Поэтому, — говорю я, — то, что собрано в этой книге, — это лишь избранное.

— А когда ты думаешь завершить её? — спрашивает он.

— Хотелось бы 21 ноября, в наш очередной юбилей.

— Какой юбилей?

— Четыре месяца, как мы с вами познакомились.

— Всего лишь четыре месяца?.. Подумать только! А кажется, что мы знакомы с тобой так давно…

— Очень давно! Ведь за эти четыре месяца мы с вами прожили множество жизней — вашу, мою и многих наших родных и друзей, о которых мы друг другу рассказали…

* * *

Стоим в его прихожей, прощаемся.

— Борис Иванович, скажите, а в этой квартире жила когда-нибудь женщина? Какая-нибудь женщина.

— Нет, никогда.

— Как это?

— Женщины приходили иногда. И уходили.

— А почему они уходили от вас?

— Они не от меня уходили. Они просто уходили.

— А почему никто из них не захотел остаться?

— Потому что я никому не предлагал этого.

— Понятно… С вами всё ясно, сын полка.

Я вспоминаю…

Я вспоминаю начало этого лета. Вспоминаю свои мысли о том, что ничего в моей жизни уже не будет — ни дружб, ни путешествий. Ни путевых дневников, которые я так любила писать в путешествиях. Ни моего любимого кролика. Который был моим последним другом последние два года жизни. Ничего…

Дети выросли — у них своя жизнь. А у меня — множество начатых книг. И вот мне надо закончить хотя бы некоторые из них. Пусть не 17, а хотя бы некоторые. Всё. Никаких больше планов.

Я чувствовала себя не живым человеком, а пишущей машинкой, да, пишущей машинкой, которой надо как-то достучать по клавишам свои последние грустные мысли. Мысли о том, что жизнь кончена.

И вот…

* * *

Когда жизнь кончилась, началась сказка. То, чего не могло быть в реальной жизни. То, на что я уже не надеялась. И не мечтала. Потому что я могу дружить только с людьми старше себя. (Саша Милитов — исключение.) Но где мне было взять, где мне было встретить человека старше себя? Вокруг была пустыня…

Но нет для Бога ничего невозможного.

По этой пустыне шёл человек. Который был совершенно один. И он был значительно старше меня. Он шёл по пустыне. А я стояла на пустом берегу…

И, глядя на нас, Бог подумал: «И доколе они будут ходить поодиночке? Почему бы этим двоим не подружиться? И живут-то они через три дома».

И тогда началась сказка…

* * *

Может быть, впервые в жизни я живу такой свободной жизнью. Я не боюсь сказать человеку то, что думаю. Не боюсь выразить свои чувства и эмоции — прямо сейчас. Я ничего не утаиваю. Я ничего не оставляю на «потом». Я не боюсь будущего. Я о нём не думаю. Оно придёт в своё время. А я живу сегодня, сейчас. ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

Я иду по берегу бухты и держу за руку своего нового, нежданного друга. Я смотрю в его глаза, смотрю в небо, которое такого же цвета, как его глаза. И полно белых облаков… Светлых и лёгких, как мои мысли в эту минуту, как мои чувства. Я никуда не спешу. Я научилась ходить походкой снежного барса. Я не бегу. Не проношусь мимо жизни. Мимо радости. Не проношусь мимо этого мгновения, в котором — ВСЁ. Все начала и все концы.

Я знаю: если ты хочешь сказать человеку «я тебя люблю» — это нужно делать, не откладывая на «потом». Не откладывая на мифическое будущее. Когда-то в молодости я об этом не знала. Потом, после череды горьких утрат,

стала догадываться… Но не умела так поступать — не имела решимости. Многие мои «люблю» остались в моём сердце, не выпущенными на свободу, — как птицы в клетке. Правда, потом я их выпустила на простор своих книг… Так родились все мои книги про дружбу.

* * *

А нынешняя моя книга, оказывается, вовсе не про дружбу. Точнее — не только про дружбу. Хотя, конечно, и про неё в полном объёме. Но в глубине своей она — ещё и про другое.

Эта книга — о более трудном. О том, как возлюбить ближнего. Не абстрактного ближнего, а конкретного — того, который рядом. Не требуя от него, чтобы он стал таким, как я.

Эта книга о том, как в этой непростой любви мне даёт мастер-класс удивительный человек, которого я в какой-то момент нашего общения посчитала перпендикулярным себе. Да, он называет себя атеистом. И при этом он даёт мне самые главные уроки жизни. Спасибо вам, Борис Иванович! У вас, мой друг, это получается лучше, чем у меня, — любить своего ближнего. Но я учусь…

* * *

Теперь я знаю совершенно точно: на «потом» оставлять ничего нельзя. И наконец, набралась смелости для этого.

Я знаю: будущее может не наступить, если я не скажу сейчас, в эту минуту, вот этому человеку «люблю». Тому, который рядом.

Если мы все не скажем друг другу «люблю» — сейчас, в эту минуту, — будущее может не наступить…

* * *

— Борис Иванович, и как вам наша история?
— Вы имеете в виду то, что мы встретились наконец-то и подружились?
— Ну, да.
— Прекрасная история! А то я так бы и бродил тут один…
— А я так бы и бродила тут одна. Вы меня спасли.
— Бог нас спас. Кто-то там наверху определённо есть…

* * *

И так два перипатетика, анонимные последователи Аристотеля, совершали свои многочасовые прогулки по берегу бухты и по лесу, ведя свою нескончаемую беседу…

* * *

А где-то там… где-то там… в далёкой и близкой Чехии, ходит по лесу или по берегу неизвестного мне водоёма мой старый друг Антонио Бареш. И может быть, милая женщина какая-то ходит с ним, «обаятельная фантазёрка», появившаяся неизвестно откуда, и помогает ему вспомнить и пролистать по страничкам всю его жизнь…

И вот они уже дошли в воспоминаниях до того маленького засекреченного городка в степи на Украине, где девочка-школьница с голубыми глазами окликнула его, Антонио, такого же голубоглазого, и подарила ему стихи о любви и одиночестве. И они потрясли его.

И целый год после этого, каждое утро, он выбегал на балкон своей квартиры, чтобы увидеть, как она идёт в школу, чтобы улыбнуться ей навстречу и проводить её взглядом…

И может быть… может быть, Антонио скажет: «Эти стихи и эти свидания без слов были самым лучшим в моей жизни».

* * *

А вчера мне приснился Мстиславль… Благодаря рассказам Бориса Ивановича, я так пропиталась им, его духом, его ароматом, что вот, он мне уже снится…

Маленький, древний город на стыке эпох и культур. Город, за который когда-то шли нешуточные битвы... Он выстоял и сохранил себя. Что-то в нём есть такое — несокрушимое. Зелёный, уютный, тихий — вдали от железных дорог и от гула аэродромов…

Во сне было лето, или конец мая, тепло и ласково, и душисто, и я бродила по тихим, зелёным улочкам Мстиславля… Я дышала его удивительно чистым воздухом. Я знала, что где-то тут должна быть речка Вихра… Где-то тут должен быть бульвар с эстрадой, на которой по выходным дням играет духовой оркестр… А в старинной будке можно купить вкуснейшее мороженое — вкуснее которого нет в целом мире…

Но более всего я желала найти большой старый бабушкин дом, где (я была уверена в этом) до сих пор пахнет свежим, тёплым хлебом…

Я проснулась и поняла, что мне непременно нужно съездить в этот город. Хотя никто вокруг, кроме Сударова, о нём не знает и не слышал, и Мстиславль от этого кажется каким-то мифическим…

Но я наслушалась о нём от своего друга и начиталась о нём в Интернете. Значит, город Мстиславль всё же существует на свете! И я должна его увидеть своими глазами.

Мне кажется, если я съезжу туда, я что-то очень важное пойму про Сударова. Пойму, может быть, откуда родом эта его несокрушимая доброта и фантастическая сила. Потому что пройти через эпицентр атомного взрыва — и остаться совершенно невредимым... Это как? Прожить такую долгую жизнь в такой непростой стране, среди всех этих катастроф — и чтобы ничто тебя не сломало… Это как? Сохранить чистоту души, ясный, добрый взгляд на мир, неистребимый юмор и молодой, заразительный смех… Это как?

Я хочу увидеть своими глазами город, где родился такой уникальный человек. Русский сказочный богатырь Борис Сударов. Хотя он и прячет своё богатырство за невысоким ростом. Потому что богатырь этот к тому же ещё и очень скромный…

Я позвонила Борису Ивановичу и сказала, что в будущем мае еду в Мстиславль. Он сказал, что тоже хочет. Хочет побывать на родине, давно там не был. И он уверен, что его племянники тоже захотят составить нам компанию. На это я сказала, что даже если никто из них не сможет по каким-то причинам, я всё равно в мае еду в Мстиславль.

— Вам это нужно для книги? — спросил Сударов.

— Нет, книга к тому времени уже будет опубликована. Мне это нужно для души.

* * *

Скоро у нашего друга Сударова очень красивый юбилей — 90 лет. Совсем скоро — 31 января 2017 года. Кроме того, что он отпразднует день рождения со своими любимыми родственниками, мы непременно устроим ему праздник и у нас на 13-м этаже.

Мы сделаем очередную запись на видео его рассказов о жизни, а ещё накупим много самого вкусного искристого мороженого, которое он любит с детства. И будем пить солнечный апельсиновый сок — за Бориса Ивановича Сударова, за дружбу и за то, чтобы всё хорошее не обходило нас стороной…

* * *

В этом году, весной, Великим постом, я слушала (в записи) проповедь митрополита Антония Сурожского, которого очень люблю и который для меня — большой духовный авторитет.

В этой проповеди митрополит Антоний горячо и настойчиво призывал меня «любить каждого встречного-поперечного». Он так и сказал, и повторил ещё несколько раз: «Мы должны любить каждого встречного-поперечного». Я была в растерянности и просто обескуражена. КАК можно полюбить поперечного?..

Я чувствовала, что совершенно не готова любить «поперечного». Перпендикулярного мне. Идущего поперёк моих жизненных представлений. Чтобы полюбить поперечного, для этого, видимо, надо подняться на какую-то очень высокую ступень духовного развития. Может, это вообще не для меня. Может, это только для святых, для праведников?..

Но при этом я почувствовала горячее желание полюбить Встречного.

* * *

Четыре месяца назад, на берегу нашей бухты я подарила книгу о своём детстве совершенно незнакомому человеку. Тому, который и оказался этим самым «встречным».

И вот что из этого вышло…

СВЕТЛАНА ВОЛКОВА

ЧЁРНОЕ И РОЗОВОЕ

Парня, которого задумали съесть, звали Нгаомба. Был он молод, высок и чёрен, с мазутным фиолетовым отливом и нежно-розовой, как подкрылки фламинго, изнанкой толстых вывороченных губ. Его лакированные мышцы цвета дёгтя блестели на немилосердном солнце, точно промазанные машинным маслом жернова умершего двигателя, оставленного однажды от безысходности белыми людьми, для племени нгабурату — обнажённого организма неизвестного бога. Жёсткие курчавые спиральки на его голове были смазаны красной глиной — дань капризной моде — и от этого напоминали лапки гигантского терракотового паука. Когда он танцевал, казалось, шевелились они отдельно от хозяина, жили своей неведомой жизнью, внушали суеверный страх врагам. Проще говоря, Нгаомба был сказочно красив, чем с момента своего возмужания постоянно питал ревностную зависть соплеменников. К тому же налёт охотничьего успеха, словно плёнка сизой саванной пыли, покрывал красавца целиком, его открыто обожал прирученный копытный скот и тайно вожделели женщины. Ну как такого не съесть, согласитесь!

Балетная прима Олеся Полуянова, ещё каких-то два года назад неизвестная провинциальная девочка, была румяна, не к месту улыбчива, вызывала восторги зрителей, а главное спонсоров театра, и отвечала всем пунктам обязательного списка успешной актрисы, чем раздражала коллег по труппе. Помимо нежных щёк, ежедневного розового в ней было предостаточно: репетиционные трико и «балерошка» с длинными узкими рукавами, пуанты с атласными лентами и даже сеточка, собирающая волосы в обязательную для всех балетных кичку. Чёрные, как африканская ночь, глаза контрастировали с лилейной кожей и светло-русыми волосами, намекая злоязыким умникам

на некий возможный генетический сбой. И вся она такая аккуратная, нежная, цвета матово-розового оранжерейного пиона, восторженная, обожаемая, не могла не вызывать аппетита едкой зависти у соплеменниц по террариуму.

Розовый цвет появился не сразу. Прима из Полуяновой получилась по воле счастливого случая, уложившего экс-приму Базукину на больничную койку с разрывом сухожилий и вывихом голеностопа — история тёмная, под стать Олесиным чернослив овым глазам. Восхождению новой звезды способствовала ненароком брошенная уважаемым в городе меценатом фраза: «А вот Полуянова — девочка перспективная», и последующее приглашение Олеси на поздний диетический ужин в загородные апартаменты. Свою «перспективность» она, не будь дурой, и доказала в тот же вечер. Что уж балерина там демонстрировала на дорогом паркете — батман тандю, гран плие, ронд ди жамб или другие элементы, — то неведомо, но молва, как можно догадаться, не преминула приписать ей в заслуги все допустимые виртуозной женской фантазией па далеко не танцевальной природы. Было — не было, судить не нам, но результат налицо: сначала ей отдали «Жизель», потом ведущие партии в «Баядерке» и «Сильфиде». К концу года и «Лебединое озеро» подтянулось. Ну как такую не съесть!

Нгаомба пах щепой баобаба, пальмовым сахаром, побегами фиг, жарким песком пустыни и свежим мясным здоровьем. Если поразмыслить чуть-чуть, так он был немного жилист, но размышления не являлись сильной стороной замысливших его съесть двух охотников-нгабурату. Питательный же рацион племени — крайне несистематичен, и любая белковая пища изысканна и деликатесна, особенно в сезон засухи. Подсчёт калорий в цивилизации нгабурату был испокон веков штукой интуитивной: поел сегодня — до послезавтра соблюдай строгую диету, а боги-истуканы пытливо следят за соблюдением равновесия. Мясо же — продукт благословенный, он даёт силу рукам при удачной охоте, быстроту ногам при охоте неудачной, зычные тембровые голосовые обертона, полезные в жизни общественной, и мужскую мощь, не лишнюю в жизни семейной. Но при всём сезонном мясном дефиците нгабурату придирчивы и строги к выбору того, чему подлежит упасть в их стойкие каменные желудки. В каннибализме тоже есть своя эстетика. Ты не просто набиваешь нутро — ты смакуешь, вбирая в себя силу и языческую фортуну пойманной тобою пищи. Съел охотника — напитался охотничьими соками, съел переговорщика — всосал искусство первобытной дипломатии, пусть и с лексиконом в сорок-пятьдесят слов, съел шамана… Стоп, шаманов есть нельзя!

Полуянова пахла деньгами. Игривое подсознание завистниц рисовало ароматы светлой кожи салона новой иномарки, бледно-розовой мальтийской ткани штор в роскошной квартире, изысканных обедов из свежих морепродуктов и правильно выращенных овощей. К этому сладкому запаху тонкой альдегидной нотой примешивался шлейф ланкомовских духов, флёр отдушек лучшей косметики и неуловимые оттенки дорогого масла ши, которым она натирала тело. На мужчин подобные благовония действовали как сильнейший афродизиак.

В отличие от племени нгабурату, питательный рацион балерин был до обидного скуден. Ну, пара скандалов в начале сезона, штука-другая вкусных увольнений… Больше соков всё равно питаешь от надежд на будущее: от предвкушений провалов врагинь, от последующей смены спонсорского фавора и от величия собственной значимости в грядущих событиях. Тот, кого ты ешь, никак не влияет на организмы балерин. Никакой эстетики — просто набиваешь желудок. И диет здесь никто не соблюдает. Философия кулинарии проста: не съешь ты — съедят тебя. В этом постулате виделось чёткое родство между балеринами и охотниками-нгабурату. Хотя те, пожалуй, всё же эстеты.

Под съедение Нгаомбы отвели второй день по новой луне.

Поедание Полуяновой было назначено на неделю, предшествующую главной премьере сезона.

Два охотника-нгабурату, братья Бого, наблюдали, спрятавшись за масличной пальмой, как Нгаомба собирался в саванну. Он положил копьё и лук со стрелами у большого камня, взял обтянутый буйволиной кожей барабан, ударил по нему пожелтевшей берцовой костью Гнусавого Дуду, съеденного на праздник Дождя, и ступил на утоптанную поляну. Взмахнул руками, подобно шаману, призвал богов благословить его на добрую охоту. Откинул голову назад, так что косы-дреды хлестнули его по лопаткам, и затанцевал — отрешённо, вдохновенно. Пятки Нгаомбы, охристо-бурые от местной пыли, выбивали неистовый ритм, плечи тряслись, будто он хотел бросить отяжелевшую голову оземь, освободиться, и почти преуспел в этом — так, по крайней мере, виделось со стороны. Он кружился, не теряя равновесия, и его соломенная юбка из сухой слоновой травы вспархивала под стать балетной пачке. Сам же он, цвета горького шоколада, напоминал самодельную юлу на тонком воронёном стержне с кручёной нитевой кисточкой на рукоятке.

Братьев Бого выедала изнутри желчь ядовитой зависти. Каждый из племени знал свой танец, но то, что вытворял Нгаомба, было завораживающим: так, по разумению охотников-нгабурату, танцует Модупе Эгун, великий дух Предков, когда выходит на новую луну из своего каменного истукана.

Чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей о Нгаомбином совершенстве, братья Бого начали прикидывать, в какой последовательности они будут поедать соплеменника-выскочку и какой степени прожарки надлежало быть мясу, да так, что в крепком споре чуть не подрались между собой за пальмой.

Две второстепенные балерины, Бельская и Мельская, подглядывали из-за приоткрытой двери, как репетирует Полуянова. Олеся долго разминалась у станка, гнула суставы, делала всевозможные растяжки. Потом вышла на середину зала, взметнула руки вверх, вспорхнула и закружилась в своём фирменном фуэте. Невесомо, как бархатная африканская бабочка, порхала её розовая юбка, мелькали пятки в обтянутых атласом пуантах, к концу репетиции обещая превратиться в хлам. Законов гравитации не существовало в тот миг для Олеси, всё в ней подчинялось воздуху и легкому ветерку, что казалось, не живое это существо, а статуэтка из фарфоровой крошки в сувенирной лавке.

Четыре любопытных глаза, не отрываясь, глазели на Олесино соло из дверной щели, передавая в мозг раздражающие сигналы зависти вперемешку с тайным восхищением. Что ни говори, выскочка, зазнайка, но Одетту-Одилию делает превосходно, чего невозможно не признать. И, дабы отвлечься от талантливых полуяновских выкрутасов, балерины с удовольствием принялись свистящим шёпотом сверять план действий, да так воодушевлённо, что чуть не дали Полуяновой себя обнаружить.

Когда братья Бого удалились, продолжая темпераментно обсуждать детали предстоящего нападения, из-за лысоватых кустов ройбуша выглянула курчавая голова Мбуты, ученика старого охотника. Учитель его пару лун тому назад вытащил счастливую короткую соломину из чёрно-розовой ладони вождя и принял великую честь стать почётной юбилейной жертвой богам. Голова Мбуты некоторое время соображала, как поступить с нечаянно подслушанной информацией, а главное, как извлечь из неё бóльшую пользу для себя самого. Мысли роились, будто рыжие надоедливые мухи, и Мбута даже поначалу отмахивался от них дубинкой. Но солнце поднималось к зениту стремительно, обещая расплавить песок под босыми Мбутиными ногами, и надо было принимать решение. Если он объяснится с братьями Бого, какой ему в том прок? Поделятся ли с ним Нгаомбой в обмен на молча-

ние? Достанется ли ему вострогрудая Нгаомбина жена хотя бы на одну ночь? Есть ли гарантия, что его самого не съедят для разогрева аппетита? Ответ на эти вопросы был в одном булькающем гласном звуке, на языке нгабурату означающему «нет». И не просто «нет», а категоричное «очень-очень нет». Поразмыслив ещё немного, что было нелегко, Мбута потрусил в саванну за Нгаомбой.

Из-за колонны в коридоре театра осторожно высунулся вздёрнутый носик балерины Дыниной, ставшей счастливой свидетельницей разговора Бельской и Мельской. Такая удача выпадает нечасто. Надо только умело распорядиться полученной информацией с пользой для себя — невероятно талантливой, но незаслуженно забытой в массовке. Думать было тяжеловато, но если ты помнишь себя на сцене только как пятого лебедя в десятом ряду, а зритель не помнит вообще, то мозговые шарики в подобных ситуациях начинают работать слаженно, а птаха-удача, плывущая в руки, мобилизует все силы организма поймать её, хвостатую, за любое подвернувшееся перо.

Дынина осторожно заглянула в репетиционный зал, где Полуянова вытирала полотенцем взмокший затылок. И задала самой себе вопрос, что даст ей дружба с примой, отломится ли ей какая-нибудь мизерная сольная партия, захотят ли в неё вкладывать деньги, и, к неудовольствию своему, интересных для себя ответов не нашла. Ведь, как ни крути, Олеся Полуянова в воздухе растворяться не собиралась, и роли её при ней, живой, мечтать вырвать — сплошная утопия. Подумала-подумала Дынина и полетела, лёгкая и крылатая, в девчачью раздевалку вдогонку Бельской с Мельской.

Старший Бого разложил сухие ветки для костра, приготовил два ножа, металлический прут, кусок зубастой пластины, похожей на ножовку у белых людей, большой котёл и две антилоповы лопатки, служившие нгабурату ложками-черпаками для жидкой пищи. Нежидкую всегда ели руками.

Младший Бого отвечал за другие ингредиенты: натаскал воды, раздобыл буйволиный жир, кусок галита, служивший солью, выкупил у женщин за обезьяньи хвосты несколько горстей приправ и разложил их на камне по кучкам. Там были перетёртые с косточкой финики, и вытяжка из сока кактуса в половинке кокоса, и острейший обжигающий перец-кубеба, и молотый кардамон вперемешку с толчёным мускатным орехом.

По старинному рецепту предков, левую половину Нгаомбы подлежало сперва бланшировать, затем обмазать всеми специями сразу и томить на медленном огне вместе с побегами молодого бамбука и зелёными бананами до

характерного золотисто-кофейного цвета. Правую же часть следовало прожарить на вертеле с теми же приправами до хрустящей корочки. Оба блюда обещали быть знатными.

Нгаомба сидел на баобабе и наблюдал сверху за приготовлениями братьев Бого. Желваки плясали под его бугристыми скулами, толстые губы оттопыривались, напоминая личинок эфиопской ночной бабочки-совки — чёрных с розовым брюшком. Белки глаз с лиловыми прожилками гневно двигались, наводя ужас на пролетающую мимо птичью мелочь.

Под баобабом в пыли сидел Мбуту и, торопясь, ошкуривал точильным камнем увесистую Нгаомбову дубинку.

— Уши, хозяин, уши! Ты обещал!

— Тебе отдам уши. Нгаомба слово держит.

В раздевалке, среди вороха «народных» балахонов массовки, сваленных пёстрым сугробиком прямо на пол нерадивой костюмершей, сидели задумавшие злодеяние девочки, вытянув точёные крепкие ноги. Загибали пальцы.

Раз. Во все имеющиеся пары полуяновских розовых пуантов уже насыпано толчёное стекло и прикрыто тонким проклеенным бинтиком — чтоб не сразу впилось во вражьи пальцы, а в самый ответственный момент, когда опорная нога приподнимется на носок и начнёт крутить фуэте. Для закрепления эффекта стыки стельки пропитали специальным размягчающим составом — дабы подвернулся с аппетитным хрустом сустава ненавистный голеностоп и рухнула с высоты своего роста величавая Лебедь. Премьера будет сорвана. Спонсоры такого не прощают. Бельская задумчиво перекатывала в ладонях пластиковый стаканчик с остатками толчёного стекла, так похожего на кристаллы соли — первой и главной приправы к блюду.

Два. Любовник Мельской, мелкий журналист, обещал тиснуть на днях статейку в центральную газету о том, что Олеся Полуянова не довольна постановкой приглашённого из столицы модного балетмейстера Брымкинса. Примитив, мол, этот Брымкинс, нивелирует её божественный талант, а Дягилев и Петипа переворачиваются в гробу, гневно скрежеща натруженными суставами. Всё это делалось для того, чтобы театр не очень-то горел желанием лечить поломанные ноги Полуяновой. Ну, чем не соус!

Три. Пущен слух от Олесиного имени, что, мол, мадам Топорищева, жена директора театра и прима десятилетней выдержки, — толстая корова, и танцевать никогда не умела, только позорит фотогалерею «великих» в фойе. Такая приправа-перчик должна сработать на триста процентов, ибо Топорищева-то, по сути, и рулила в театре при номинальном директоре-муже. Высокая кухня…

На полу, рядом с Бельской-Мельской и грудой костюмов, сидела счастливая Дынина и, ковыряя пальцем в дырке на чешках, торопливо повторяла:

— Девочки, только, чур, никто Сильфиду не учит! Я выучила. На срочной замене, чур, только я одна и заявлюсь. Чур, моя партия, вы обещали! Чур!

— Ладно-ладно. Там на всех хватит, — вторили балерины.

Растянувшись на остывающей после знойного дня земле, сытый Нгаомба гладил себя по животу, и чёрно-лиловая, особой выделки кожа его подрагивала от мерного постукивания пальцев — излюбленного ритуала нгабурату для улучшения переваривания пищи. У ног его, как прикормленный саванный павиан, примостился клубком Мбуту.

Сегодня доели братьев Бого. Так себе трапеза, но со специями очень даже ничего. Нгаомба вяло пожёвывал кору карликового баобаба — самого верного средства от несваренья.

— Хозяин, — поднял голову Мбуту. — Шаман сказал, ты единственный на место ушедшего Вождя. Если, конечно, Большой Ву не объявится.

Нгаомба зевнул. Есть своих врагов — дело, оказавшееся на удивление приятным. Но братья Бого закончились, завтра надо либо идти в саванну, где неизвестно, ждёт ли тебя удача в охоте. Либо…

— Большой Ву, говоришь?

Теперь у него есть Мбуту, помощник, готовый на всё. И ещё есть абсолютная незыблемая уверенность в своей правоте. И опыт, опыт, куда ж его денешь! А у Большого Ву ничего этого нет. Лишь преимущество, которое ему уже не пригодится: он большой. До новой луны хватит, если повялить на солнце с галитовой солью.

— А что, Мбуту, остался ли у нас ещё перец-кубеба и масло?

Мбуту встрепенулся, белозубо заулыбался и пополз точить лежавший поодаль Нгаомбин бумеранг.

— Уши, хозяин. Не забудь!

Нгаомба вяло кивнул и повернулся на другой бок. Ещё есть время для сладкого сна.

На фасаде театра вешали новые афиши. Под жирными буквами названия балета — имя никому не известной Марии Пыжиковой. У больших деревянных дверей с громоздкими медными ручками, отполированными до золотого блеска ладонями зрителей и театрального люда, стоял директор театра Топорищев и держал под руку молодую элегантную даму в белой норковой накидке. Пёстрая толпа журналистов роилась вокруг парочки, тыкая им в лица

поролоновыми микрофонами. Из-за спины директора осторожно выглядывал модный балетмейстер Брымкинс, щурясь от навязчивых фотовспышек.

— Ну, нет, вы преувеличиваете, господа, — вальяжно растягивал слова Топорищев. — Это самая обыкновенная кадровая замена. Мы расстались с тремя неперспективными балеринами по их же собственному желанию. Да-да, я уговаривал их остаться, но заявления подписал, раз они того захотели.

Репортёры затараторили хором, перебивая друг друга.

— Мы с женой отобрали двух неплохих девочек, выпускниц, близняшек Пыжиковых, Машеньку и Дашеньку. Решили вводить в постановки обеих сразу. Но у Машеньки пошло лучше, и вот, видите, — рука директора картинным жестом указала на афиши. — Ожидаем-с долгожданной премьеры.

Брымкинс закивал из-за топорищенской спины.

— А что стало с Олесей Полуяновой? — раздался бойкий голосок, и рыжая девчушка с диктофоном протиснулась вперёд.

Повисла неловкая пауза.

— С Полуяновой? — откликнулась дама в накидке. — А кто это?

Микрофоны переметнулись к мадам Топорищевой. Та отмахнулась от них, как от назойливых дрозофил.

— Да что с ней станется-то? Уехала домой, в свою Костомукшу.

Директор подарил ещё пару реплик голодным до сплетен журналистам, словно подкинул недоглоданную кость, и, подхватив под локоть супругу, направился с ней к ожидавшему их «мерседесу».

— Отыграем премьеру, душенька, и сразу на море, непременно на море.

— Да, котик, — заворковала «душенька», — ты должен мне десять морей, не забывай. Без меня и не разрулил бы тот скандалец.

— Я без тебя, душенька, ноль, полный ноль, — мяукал Топорищев, тыкаясь носом в меховое плечико жены.

«Мерседес» отъехал от театра, унося в себе немолодого, играющего в аристократа директора и королеву интриг, счастливую обладательницу номера пять из череды мадам Топорищевых.

На удаляющуюся машину из окна балетного класса смотрела взмокшая от изнурительных репетиций бледная Маша Пыжикова, вытирая мокрую шею розовым вафельным полотенцем. И не догадывалась, кому на самом деле была обязана счастьем своего предпремьерного пота.

...А из-за большой стеклянной витрины «Кофе Хауза» на противоположной стороне площади смотрели на высунувшуюся из окна театра Машу четыре пары завистливых глаз. Три пары принадлежали недавно ушедшим «по собственному желанию» балеринам Бельской, Мельской и Дыниной, а четвёртая, зеленоглазая пара, была как две капли воды похожа на восторжен-

ные глаза юной примы. И носик похож, и губы, и скулы. Четвёртая девочка, вторая близняшка-Пыжикова, склонила мордочку к середине стола, внимательно слушая «бывалых» балерин и стараясь запомнить каждое слово. Лишь изредка отвлекалась, косясь на летающий силуэт в балетном классе напротив. Но всё поняла верно: не съешь ты, съедят тебя.

Топорищенский «мерседес» сделал на площади круг и уткнулся в хвост привычной пробке в боковой улочке. Элегантная мадам Топорищева, повернувшись вполоборота на заднем сиденье автомобиля, лукаво смотрела на четыре тонкие фигурки за витриной «Кофе Хауза» и улыбалась сквозь сладкий зевок, подобно капской кобре, собирающейся поглотить птичье яйцо.

Таковы законы театра. На каком бы континенте этот театр ни находился и какого бы цвета ни был — чёрный или розовый.

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ

ПРИУС

Месяц назад автомобильная стоянка пополнилась новым жильцом: японский гибридный Приус медленно и бесшумно проехал мимо удивлённых отечественных авто и скромно припарковался между другими иномарками, которые тоже удивлённо стали его разглядывать, так как о гибридных авто они только слышали, но ни разу не встречали на дорогах. А тут такая удача. Рассмотрели. Ничего интересного: маленькая машинка чисто для невысоких японцев. Огромный Лэнд Крузер хмыкнул:

— А если холодильник перевозить?

Авторитетное мнение поддержали все соседние машины и потеряли интерес к новичку.

Приус по старой японской привычке просыпался рано. Даже раньше ворон, которые в это время ещё чутко спали на ветках, покачиваясь вместе с деревьями в морозной тишине большого города.

Проснувшись, Приус прислушался и услышал далёкий скрип трамвайных колес на повороте. «Трам-вай», — произнёс Приус и улыбнулся: сейчас он уже знает, как называются его новые знакомые, которых он постоянно встречает в городе, когда они вместе с хозяином едут по делам, а раньше он думал, что их зовут «коза растопыренная». Так говорил хозяин, когда они попадали в пробки: машины вокруг начинали сигналить, возмущаться, а водители переругиваться и называть друг друга разными интересными словами. Тогда в городе почему-то выключили электричество, трамваи встали, перегородили дорогу, а хозяин в сердцах сказал стоящему перед ними трамваю:

— Коза растопыренная! Встала и стоит. Нет, ну ты посмотри, а?

Было интересно и непривычно слушать разговор человека с самим собой. И вообще, в этой холодной и суровой стране всё по-другому. Приус даже не понял сначала, работает его хозяин или не работает, потому что в пер-

вый день покупки хозяин тут же поехал по знакомым хвастаться новеньким приобретением. И ездили так целый день. После каждой остановки салон наполнялся непривычным острым запахом, вызывающим желание улыбаться и хохмить. Но Приус удержался, только поудивлялся, промолчал, решил исправно выполнять свои обязанности и одновременно изучать этот новый и очень непонятный язык. Хорошо, что его новый владелец имел привычку говорить сам с собой и все время комментировал дорожные ситуации.

Приус очень быстро выучил новые слова. Теперь в его языковом арсенале были новые выражения: «баран», «козёл», «сапогтвоюмать» и многое другое, только Приус не понимал, почему одним и тем же словом хозяин авто называет совсем разные автомобили или даже людей. Непонятная страна! Наверное, это такой обычай, и надо к этому привыкать.

Приус по натуре был очень любознательным и искренне радовался, что его хозяин такой грамотный и образованный, скорее всего, он преподаватель языка в этой стране.

Невдалеке заскрипела и грохнула промёрзшая дверь. Приус вздрогнул: он уже хорошо знал этот звук и что за ним последует: это проснулся сторож автостоянки, которого все называли «Никитос». Он сейчас выйдет из сторожки, вздохнёт, сплюнет, выругается и пойдёт за угол с кем-то говорить о каком-то блаженстве. Потом вернётся в свою сторожку, встанет на фоне окна и выпьет непонятный чай светлого цвета, после чего резко повеселеет и пойдёт разгребать снег. Как всегда. Никитос будет халтурить — заметёт снег под колёса машин и создаст видимость уборки центрального прохода.

Приус невзлюбил сторожа с самого начала. И побаивался. Никитос когда-то работал на авторемзаводе и считался в округе грамотным специалистом, к нему всегда обращались владельцы машин, когда надо было что-то починить или исправить. Он вразвалку, со взглядом, делающим одолжение, солидно подходил к машине, поднимал капот, вслушивался и веско произносил:

— Кольца залегли. Пятый цилиндр барахлит. Могу исправить, пригоняйте вечером в гараж.

Приус подозревал, что сторож лукавит и никакие кольца нигде не залегли — он по звуку слышал, что причина плохой работы мотора в неправильной топливно-воздушной смеси, но сказать ничего не мог и только наблюдал, как машину оттаскивали в гараж. Потом, по темноте, туда приходил Никитос с друзьями, они полночи громко шумели и пели тоскливые песни о каком-то бродяге и о какой-то Колыме и только потом на полчаса обступали автомобиль и что-то там колдовали, применяя выражения, которые Приус ещё не знал, но запоминал.

Приус боялся, что если, не дай бог, у него что-то сбойнёт внутри, то хозяин позовёт этого Никитоса и доверит ему копаться в электронных внутренностях — упаси и сохрани! И поэтому Приус с раннего утра опрашивал свои датчики и устройства, всё ли у них нормально.

Всё было хорошо, только вот Большая Батарея стала жаловаться на повышенную температуру:

— Вот как только наш хозяин решит кого обогнать, нажмёт на газ, так мне совсем дурно становится… — говорила она и вздыхала. Приус кивал, соглашался и повторял недавно услышанное: «Старость не радость».

Да, давно было пора и на Большую Батарею обратить внимание, и на её сестру. Маленькая Батарея пока ещё молчала, помогала сестре чем могла, но она же маленькая и занималась только тем, что после включения зажигания будила многочисленные Реле.

— Как остальные себя чувствуют? — спросил Приус и прислушался. Это только людям кажется, что если они машину заглушили, то всё, машина до утра будет стоять мёртвой. Нетушки, внутренний мир автомобилей гораздо сложнее и интереснее.

Как всегда первой заторопилась Магнитола:

— Что, уже утро? Неужели я проспала? А у меня есть замечательная песня для этого прекрасного морозного утреца, проиграть?

— Опять эта выскочка … — пробурчал Мотор, — заткнули бы её, а? А то совсем себя не слышу, а мне надо вслушиваться в свою работу, анализировать, сопоставлять…

— Сопоставляльщик! — засмеялась Магнитола, — ты как там, ещё не взмерз як суслик?

Приус удивился и спросил у Магнитолы:

— Откуда такие новые слова? «Взмерз» — это замёрз?

— Деревня! — хохотнула Магнитола, — да у меня теперь этих новых слов и выражений море! У меня же диски стоят, забыли? А там столько всего интересного!

— И что же там такого интересного?.. — задумчиво спросила Большая Батарея больше из приличия, ей совсем не хотелось говорить, напряжение внутри падало меньше положенных вольт, и ей становилось всё хуже и хуже.

— А например! Вот! — Магнитола откашлялась, подождала полной тишины и вдруг истошно заорала на весь салон:

— Рюмка водки на столе-е-е-е!.. ветер пла-а-ачет за окном!

— Тихо ты, придурошная! — прикрикнул Приус на Магнитолу, — всю стоянку разбудишь!

— А чем я виновата, если он мне нравится, — возразила Магнитола, — он же такой милашка! И не говорите только, что он орёт, а не поёт — у него такое разбитое сердце… ах, какой мужчина!

Услышав непонятный звук, сторож Никитос повернулся и начал всматриваться в сторону машины. Он не любил эти современные и навороченные автомобили, для него милее были маленькие, славные Жигули, и он всегда говорил, что все иностранные машины, тем более Приусы, — блажь и ненужность, тем более в России. Русские машины — это «Волга», «жигули» и танк Т-34. А когда ему начинали со смехом возражать, он грустно качал головой, поднимал палец и назидательно говорил:

— От корней отрываетесь…

Сторож больше не услышал никаких звуков, подумал, что показалось, и пошёл дальше сметать снег под колёса машин. А внутри Приуса разговор продолжался. Большая Батарея вдруг спросила:

— Слушай, Приус, а ты кто вообще? Что-то мы тебя не видим. Вот я — Батарея, меня видно, я сзади. Мотор впереди, его все знают. Ну Магнитола понятно … Всех видим и знаем, а тебя не видим. Ты бортовой компьютер, что ли?

Приус помолчал, собираясь с мыслями, и сказал:

— Нет, я не компьютер, хотя основные мозги у меня там. Я… как бы вам поточнее сказать… я — это вы все. А я, Приус, это ваш Дух.

— Привидение, что ли? — язвительно спросила Магнитола. — Не надо нам дополнительных привидений, хватит нам одного Тока, которого вообще не увидеть — мотается тут по проводам, да смуту вносит в наши стройные ряды.

Тут уже возмутился Ток, приостановил свой бег по проводам и мудро возразил:

— А что вы без меня? Я — Ток, я тут самый главный, вы без меня ничто.

Большая Батарея засмеялась:

— Ага, насмешил! Да не было бы меня — куда бы ты подался, где бы отлёживался ночами? Мне спасибо скажи! Я же тебя как родного берегу, вон у меня сколько для тебя спален приготовлено!

Ток согласился:

— Что верно — то верно, — и задумчиво спросил:

— А может быть, мы тут все главные? Что спорить — ну без мотора понятно, далеко не уедешь, но и без малюсенького реле будет плохо. А давайте решим раз и навсегда: «Главные тут все!»

Из багажника пискнул маленький Саморез:

— И даже я?

— Ну а куда без тебя, конечно! Ведь если ты открутишься и упадешь куда-то в провода — закоротит и сгорим мы тут все синим пламенем.

Магнитола спохватилась и испугалась:

— Что, горим? Пожар? Пажа-ар!!! Спасайся кто может!!! А где пожар? Куда пожар?! Синим пламенем? Не горим? Так горим или не горим?! Жаль, у меня тут песенка припасена на этот случай, слушайте:

В холодильнике пусто! В туалете темно!
Настроение гнусное! Но уже все равно!
Ла-ла-ла-ла-ла!
И поет! Как всегда! В унитазе вода!

Все ошарашенно притихли, а Приус поинтересовался:

— Это песня про пожарных?

— Ну я не знаю, придирчивый ты мой! — отрезала Магнитола, — песня какой-то Чичериной, на диске так и написано: «Пожарные».

— Дура ты, — сказала Большая Батарея, — вечно лезешь во все щели. Какой пожар, откуда ты взяла?

Магнитола обиделась:

— Сами про пожар говорили, а теперь я виновата. О боже, как же жизнь несправедлива, как же жить нам тяжело… Тьфу на вас! Я обиделась на вас, негодники, заткнусь, и больше не зовите.

В салоне наступила тишина, но ненадолго — пришел Хозяин. Он деловито обошёл вокруг машины, зачем-то постучал по колёсам и сел в салон. Приус подумал: «И почему это только у русских такая привычка? В Японии всё было просто — сел, поехал. А тут, наверное, это какой-то древний языческий ритуал? Надо запомнить…»

Ехали быстро и весело. Но в какой-то момент Магнитоле вдруг стало страшно. Она подумала, что в автосервис они едут из-за неё, неразумной. Ну зачем она сегодня утром начала песню орать? Ну было настроение, было… а что тут такого? Магнитола взглянула на владельца машины и тихонько пошуршала диском внутри. Из колонок зазвучало тихо и грустно:

С любимыми не расставайтесь никогда,
С утра, прощаясь, крепко обнимите.
И пусть бегут настенные часы,
К душе родной руками нежно прикоснитесь.

Магнитола проиграла и притихла — как? Хозяин машины непонимающе посмотрел на Магнитолу.

— Что за бред? — вслух удивился он, — магнитола сама заиграла… ещё и её ремонтировать?

«Всё, мне конец… — со страхом подумала Магнитола, — русских ничем не разжалобить, они как сталь, лёд и пламень, — и решила: «Была не была! Ну, динамики, не подведите!». Через секунду салон автомобиля взорвался громом песни:

Больно мне бо-о-о-ольно!!!
Больно как бо-о-о-льно!!! ...
Не унять эту злу-у-ую бо-о-о-оль!!!

— Твою же мать!!! — заорал Хозяин машины, резко затормозил у обочины и выскочил оглушённый. Походил вокруг, попинал колёса, отходя от грохота прозвучавшего отрывка песни. Попытался вспомнить, сколько у него денег, и покачал головой: «На ремонт магнитолы не хватит. Ладно, главное большую батарейку починить, а там разберёмся».

Они поехали дальше. Магнитола сникла и решила не выделываться, лениво подчинялась пальцам Хозяина машины, из динамиков зазвучало:

Нас было мало, слишком мало.
От вражьих толп темнела даль;
Но твёрдым блеском засверкала
Из ножен вынутая сталь.

«Какие они кровожадные, эти русские, — подумал Приус, — им бы только всегда воевать с врагами...»

В автосервисе их уже ждали. Мастер в чистой спецовке поздоровался с Хозяином и Приусу не понравился тон приветствия — он разбирался в людях и понимал, что таким тоном здороваются сомневающиеся в себе человеческие особи, которые тоном превосходства стремятся замаскировать дрожь в руках и общую неуверенность. Интересно, а этот так называемый «мастер» хоть раз ремонтировал гибридные автомобили? Приус напрягся и объявил:

— Всем внимание! Похоже, нам не очень повезло, и этот Мастер будет нас сейчас немного портить…

Магнитола забеспокоилась:

— Кто? Где? Пустите меня посмотреть! А вот я ему щас-с!..

И разговор Хозяина машины и Мастера перебил истошный крик из салона, Магнитола предупреждала новой песней:

Реальность распадается на части — здрасьте!
Спутались масти, разыгрались страсти.
Пасти оскалились, потеряна власть,
Все двадцать пять несчастий — да что за напасть!

Потом резко наступила тишина. Хозяин машины вздохнул и пожал плечами:

— Ну вот, сами видите, кроме батарейки надо еще магнитолу смотреть. Но это потом, посмотрим, как здесь сложится.

Мастер немного озадаченно переспросил:

— Батарейка? Вы имеете в виду аккумулятор?

— Ну да, это там, сзади… да что я вам говорю, вы же сами всё знаете!

— Естественно! — отрезал Мастер и сделал умное выражение лица. — Вы идите в комнату для клиентов, а я тут начну потихоньку…

И, подождав, пока все уйдут, он на всякий случай закрыл своей спиной компьютер на верстаке и стал искать информацию по этому автомобилю. Для Мастера не было ничего непреодолимого, он мудро следовал советам своего отца: «Что сделано человеком и испортилось — другой человек сможет исправить испортившееся».

Конечно, небольшой страх был — а ну как не так сделаешь… а Приус машинка дорогая…

Приус внимательно следил за Мастером. Он уже понял, что этот человек в аккуратной рабочей робе — пустышка и неуч, но что делать? И через секунду Приус понял, что или сейчас, или никогда, что именно сейчас решается их совместная судьба — Большой Батареи, Тока, всех саморезов, Магнитолы и сотен других коллег и знакомых… Приус откашлялся и напряжённо и торжественно произнёс:

— Товарищи! Обращаюсь к вам в этот исторический и ответственный для нас всех момент… Братья и сёстры! Родные мои… — Приус чуть не заплакал, представив, что если этот Мастер начнёт ремонтировать, то обязательно всё сломает. Причём так сломает, что это будет надолго.

Магнитола притихла и всхлипнула:

— Нам пришла задница? Нас сломают? Я так и знала! Ой, как гру-устна-а… но у меня как раз есть песенка на этот случай…

— Заткнись, сволочь! — внушительно произнесла Большая Батарея, — всем собраться, приготовиться и слушать Приус — он мысль, он что-нибудь придумает. Ток, ты здесь, ты готов, не уснул ещё?

— Всегда готов! — бодро откликнулся Ток, — это только кажется, что я сплю, а на самом деле я никогда не сплю, просто здесь сплю — а здесь не сплю.

— Значит, так… — медленно и раздумчиво произнёс Приус, — как только этот человек к нам приблизится — все начинаем одновременно и дружно пугаться!

— А это как? — спросил маленький Саморезик из багажника, — мне как пугаться?

— Тебе молчать и вибрировать! Сигнал, сигнализация — готовы?

— Выдадим звук на все сто! — заверили они, — выдержали бы стёкла.

Магнитола встрепенулась и обрадовалась:

— Ах как я сейчас пригожусь! Щас, только найду нужные песни…

Мастер закончил с компьютером, не нашел ничего нужного, но решил действовать по наитию — а что, всегда прокатывало. Если что-то не получится, то всегда можно сослаться на «электронный поток не в ту сторону у вас в машине». Он пошёл к машине…

В этот момент, если смотреть со стороны, машина словно ожила: истошно заорала сигнализация, звуковой сигнал стал подавать короткие гудки, стеклоочистители бешено заскребли по стеклу. А по автосервису разлилась отчаянная песня из динамиков автомобиля:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Мастер замер. Он словно прирос к полу и начал недоуменно оглядываться. «Бред какой-то», — сказал он и шагнул вперёд. Из машины снова грохнуло:

Но мы подымем! гордо и смело!
Знамя борьбы за рабочее дело!
Знамя великой борьбы всех народов!
За лучший мир! за святую свободу!

Этот музыкальный громоподобный концерт услышали не только за стеклом в комнате для клиентов — через забор располагалась автомойка, так мойщики дружно побросали шланги и побежали в автосервис. Даже Босс высунулся из своего кабинета и поинтересовался, в чем дело.

— Да хрен его знает, — развел руками Мастер, — машина сама по себе начала орать. Замыкает конкретно. Нет, тут оплата должна быть намного дороже! Давайте передоговариваться.

Хозяин машины стоял рядом и ничего не мог понять. Вдруг он увидел, что Мастер что-то прячет за спиной и спросил:

— А что там у вас?

— Где? — удивился Мастер и оглянулся, включив дурака на лице.

— За спиной у вас что? Ну-ка покажите…

За спиной в руках Мастера были кусачки. Хозяин возмутился:

— Вы что, с кусачками на Приус собрались? Да вы хоть понимаете, что это за машина?

— Машина как машина, — буркнул Мастер, бросил кусачки на верстак и вытер руки, — вы лучше езжайте куда-то ещё, нам проблем и без вас хватает.

* * *

Из автосервиса все ехали молча. Хозяин думал о том, куда бы ещё обратиться по ремонту, где могли бы отнестись к его машинке поласковее, где бы не бросались на гибридный современный автомобиль с кусачками. Большая Батарея прикрикнула на амортизаторы:

— Алё, гараж! Вы там помягче давайте, поласковее, видите, наш Хозяин думает …

Магнитола отошла от испуга и из динамиков зазвучало тихо-тихо:

Предлагаю мир, хватит этих авантюр.
Мой хороший, мур-мур-мур,
А вчерашний день смоет будто акварель,
Не бойся, верь.

— Ну ты и придурошная! — сказала Большая Батарея, — а нормальнее ничего не нашлось? Куда ты Лель ставишь, она же больная на всю голову!

Магнитола согласилась и поставила другую песню:

Мы встретились с тобою,
Увидел я тебя,
В малине ты сидела,
Смотрела на меня,
Ты песенки мурчала,
И я от них балдел,

Влюбился так, что даже
Мяукнуть не успел.

— Пойдёт, — согласилась Большая Батарея, — ты, Магнитола, ставь сейчас что-то мягкое и ненавязчивое, пусть наш Хозяин отдохнет, намучился, бедный …

А владелец машины размышлял о том, куда ему теперь обратиться по ремонту своего гибрида. Он уже перестал обращать внимание на магнитолу, которая решила вдруг жить своей жизнью и из динамиков звучали то одни, то другие песни — бог с ней, тут надо понять, куда ехать ремонтировать?

Самый надежный вариант — у друзей спросить. Потом Интернет. Так и сделал. К вечеру, ложась спать, он уже знал адрес автосервиса, куда завтра утром и поедет. Это тут недалеко, около города.

* * *

Ранним утром машина подъехала к автосервису. Большая Батарея поинтересовалась:

— Нам готовиться к новому концерту? Если что, то мы готовы.

Магнитола обрадовалась:

— Отлично! Замечательно! Восхитительно! Я как раз за ночь нашла много новых песенок, уверена, всем понравится!

Все промолчали, потому что уже поняли: затыкать Магнитолу бесполезно, с её характером только на базаре семечками торговать, а пытаться остановить — только время впустую тратить.

Приус сказал:

— Спасибо, — помолчал и добавил: — Братья и сёстры, признателен вам за поддержку. А сейчас прошу всех помолчать, особенно нашу уважаемую Магнитолу, — надо посмотреть, что и как…

— Да пожалуйста! — ответила Магнитола, — мы же одна команда, да? Один за всех, все на одного… или как там правильно…

Приус молчал и осматривался. Ну что ж, начало вроде хорошее: мужчина из автосервиса вышел, долго о чем-то говорил с Хозяином, что-то уточнял, интересовался, с чего началась неисправность, как она развивалась, какие ремонты были раньше…

«Неплохо, — подумал Приус, — значит, русские не все лаптем деланные… или как там правильно…»

Магнитола забеспокоилась:

— Ну что там, родненький Приус, мысль ты наша обобщающая? Будем концертировать или как?

— Да нет, — ответил Приус, — начало нормальное, а если к нам первым делом подойдут со сканером — будем расслабляться и отдаваться грамотным рукам.

Магнитола согласилась и из динамиков грустно зазвучало:

Падет орлом — напьюсь в сосиску,
А решкой — двину в Сан-Франциско.
Куда пойти, куда податься,
Кого найти, кому отдаться?

Песню услышали, и Хозяин машины сказал:

— И магнитола ещё барахлит, живёт своей жизнью.

— Понятно. Ну что, пойдёмте оформим бумаги и начнем ремонтировать.

* * *

Машину загнали в ремонтный бокс, и к ней направился человек со сканером в руках. Магнитола беспокойно спросила:

— Ну что там? Как там? Алё, мысль, что молчишь? Я начинаю беспокоиться! А когда я начинаю беспокоиться, то я…

Она не успела договорить, Приус ответил ей и всем остальным:

— Ну что, братья мои и сёстры… всё у нас теперь будет нормально, наконец-таки попали в человеческие условия — троекратное «Ура»!

— Офигеть!!! — радостно заорала магнитола. — Это замечательно! Прекрасно! Нет слов! У меня тут случайно песня завалялась на этот торжественный момент. Сейчас поставлю.

* * *

Специалист по ремонту гибридных автомобилей подключил сканер и начал смотреть показания на дисплее. Не удивился, только улыбнулся, услышав из салона песню, которая заиграла сама по себе:

Так громче музыка играй победу!
Мы победили! Враг бежит, бежит, бежит!

Так за Царя! Отечество и веру!
Мы громко грянем троекратное Ура! Ура! Ура!

Владелец машины оглянулся и тоже улыбнулся: удивительно, но машина была как живая. Всегда там звучали песни под настроение. И сейчас вот тоже звучит:

Я так тебя люблю,
Что повторяю вновь —
Я все твои грехи
Простить тебе готов.

А Приус нежился и расслаблялся… как же машина любит прикосновения грамотных рук, тогда всё можно простить. Пусть только руки будут грамотными…

КИРА КРАСНОВА

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

(из «Толкового словаря Киры К.»)

Взгляд — передача мысли на расстояние.

Цинизм — низведение чистоты в грязь.

Хитрость — артистическое действие ради корыстной цели.

Надменность — самоуважение верблюда.

Ханжество — вседозволенность за ширмой нравственности.

Тоска — душа, завязанная узлом.

Улыбка — верительная грамота.

Пессимизм — затмение в душе.

Домашний очаг — место, где можно отогреться от житейских бурь.

Воспитание — обязанность, которую родители и учителя перекладывают друг на друга.

Курение — переработка в дым собственных легких.

Скитание — путешествие, когда дома не ждут.

История — путеводитель в будущее.

Восстание — взрыв терпения.

Анкета — положительная характеристика самого себя.

Титул — престижная упаковка.

Искусство — виртуозное исполнение любого дела.

Вдохновение — состояние взвешенной одержимости.

Творчество — материализация таланта.

Ошибка — импульс для новой идеи.

Конец — пауза перед началом.

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ

ВЕЛЛЕРИЗМЫ

Что такое веллеризмы? По свидетельству ученых, этот вид высказываний существовал и в древности — в 3-м тысячелетии до нашей эры, у шумеров.

Первым обратил на них внимание известный американский филолог А.Тейлор в 1931 году в своем труде «The Proverb» («Пословица»). С тех пор они известны в филологии под названием *веллеризмы* — в честь Сэмюэля Уэллера, слуги мистера Пиквика из «Посмертных записок Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса: Сэм, а иногда и его отец очень любили произносить их.

Веллеризм представляет собой фразу, при которой даётся описание говорящего или дополнительно поясняется, при каких обстоятельствах фраза произнесена. Описание создает определенную игру слов, придающую высказыванию комический эффект.

Изучением и классификацией веллеризмов, а также других паремий, кладезя жизненного опыта народа, — пословиц, слоганов, афоризмов, максим, загадок занимается наука — паремиология, являющаяся разделом филологии.

Происхождение паремий не только фольклорное, но и литературное. Нередко авторы, создавая свои фразы, и не подозревают, что пишут веллеризмы. Чаще всего их путают с афоризмами и каламбурами, в связи с тем, что в некоторых высказываниях они присутствуют.

Между тем веллеризмы имеют ряд отличительных особенностей.

Во-первых, конструкция веллеризма более сложная — он состоит, как правило, из трех частей.

Для лучшего понимания имеет смысл разобрать на составные части следующий веллеризм Чарльза Диккенса: *Всё это мне на пользу, — как утешал себя один раскаявшийся школьник, когда его высекли.*

Здесь:

первая часть — это высказывание либо афоризм, каламбур, пословица, цитата *(Всё это мне на пользу);*

вторая часть — описание говорящего (это может быть человек, животное, предмет) — *(как утешал себя один раскаявшийся школьник);*

третья часть — объяснение ситуации или совершаемого действия — *(когда его высекли)*.

Бывают веллеризмы и из двух частей. Например, у Диккенса: *Берегите головы! — как говорит пирожник с лотком на голове.*

Первая часть — высказывание *(Берегите головы!),* вторая часть — описание говорящего *(как говорит пирожник с лотком на голове)*.

Во-вторых, веллеризм всегда несет в себе заряд неожиданности — в силу, как уже было сказано, игры слов, вызывающей подмену смыслов.

В классических веллеризмах Чарльза Диккенса, как правило, косвенная речь. Это достигалось употреблением союза *как («…как говорил…»).* В современных веллеризмах чаще применяется прямая речь, и они в своём большинстве имеют только две части (высказывание и описание ситуации, вызвавшей это высказывание). Это позволяет увеличить разнообразие содержания при написании веллеризмов.

Ниже приводится несколько веллеризмов автора (*из книги:* «Веллеризмы. От истоков к современности». *Сост*. Александр Смирнов. — Радио-Софт. — М., 2019).

«Мы вместе пахали», — утверждал слепень, вцепившись в круп лошади.

«Всех не перебьешь», — сожалел оратор на диспуте.

«За счет грехов живу в раю», — признавался олигарх на исповеди.

«Какой хороший человек», — нахваливал каннибал трапезу.

«Мы еще встретимся», — грозил суду приговоренный к пожизненному заключению.

«Все равно тебя из-под земли достану!» — грозил червяк в запале воробью.

«Нагнешься — стреляю!» — угрожал радикулит пояснице.

«Не называй скотом моего кота, — просил мальчик, — ведь это животное, а не твой начальник».

«Ни дня без строчки», — жаловался на жизнь портной.

«На какой срок это потянет?» — гадал карманник, вытягивая кошелек из кармана.

«В дальнейшем в лечении не нуждается», — сделал заключение врач, оставив попытки делать пациенту искусственное дыхание.

«Ну, ты и фрукт», — как говорила Редиска Перцу.

«Птичек жалко», — слезы лил злодей, в суп кидая голубей.

«Тяжело стало воровать», — оправдывался вор, устраиваясь работать грузчиком.

«Успеем всех повесить», — успокаивал гардеробщик театральную публику.

«Язык без костей», — сделал заключение судмедэксперт, ознакомившись с биографией трупа.

ВЛАДИМИР КАФАНОВ

ФРАЗЫ

Самая высокая производительность отмечается у женщин, которые производят впечатление.

Квартирный вопрос загоняет в угол как раз тех, у кого его нет.

Мало найти цель в жизни, нужно еще в неё попасть.

Без дураков работать нельзя хотя бы потому, что кто-то непременно этим должен руководить.

Отказывать себе во всём легче, когда всего — ничего.

В давке сильней толкаются бестолковые.

Корень зла боится удобрения.

Вот жизнь пошла — купишь батон хлеба и на биткоин уже не хватает.

Обуяло сомнение — переобуйся.

Чувствуешь себя свиньёй — ищи трюфель.

В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.

В отличие от волос шансы падают, когда не выпадают.

Чаша терпения быстрее переполняется, когда в неё плюют.

Чего только не скажешь, чтоб не проболтаться.

Больше всего сил уходит на то, чтоб отказывать себе в слабостях.

Чтобы нравиться всем, нужно быть никем.

Излюбленное место встречи двух одиночеств — замочная скважина.

Отрицательные обстоятельства легче складываются.

Особенно трудно молчать, когда не знаешь — о чём.

Актёр должен поступать со зрителем, как Зевс с Прометеем, — приковать к месту и достать до печёнок.

Литературно-художественное издание

МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
№ 14, 2019

альманах

Координатор *Джангули Гвилава*
Главный редактор *Михаил Стародуб*
Редакционная коллегия:
Татьяна Шипошина (1-й заместитель главного редактора),
Жанна Голубицкая (заместитель главного редактора),
Надежда Днепровская, Ева Меркачева, Лариса Адлина, Виктор Черняк

Редакция не обязательно разделяет точку зрения авторов

Подписано в печать 16.04.19. Формат 60x90 1/16
Печать офсетная. Бумага офсетная №1. Печ. л. 9,75.
Тираж 700 экз.

ООО «Миттель-Пресс»
127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6